

Владимир
Шириков

ПЯТОЕ
ВРЕМЯ
ГОДА



Здравствуй, Москва!





Первая книга... За немногими исключениями получается так, что автору ее издание нужнее, чем читателю. Позже, когда писатель окрепнет, когда раскрепостятся все его возможности, нередко бывает наоборот. Разумеется, речь идет об авторах, обладающих несомненным природным даром.

Но что же такое первая книга для человека с природными способностями? Мне думается, что для людей мужественных, наделенных сильным творческим потенциалом, это всего лишь некий трамплин, вернее первый барьер, который необходимо преодолеть, чтобы сделать следующий рывок. Для людей же, наделенных слабым творческим зарядом, первая книга это всего лишь способ удовлетворения тщеславия, как, впрочем, и все последующие книги. Настоящий писатель, переболев этой детской болезнью, с ходу стремится дальше, он озабочен новыми, еще более серьезными вещами. Сверхзадача просто неминуема для него сразу же за первым преодолением.

Владимир Шириков, как мне кажется, сейчас как раз в том состоянии, когда его движение сдерживалось отсутствием первой книги.

Хочется верить, что он, оставив детскую болезнь позади, тотчас устремится дальше и не остановится на рискованной, опасной и тяжелой литературной стезе. Герои Владимира Ширикова — это люди современной городской окраины, где так причудливо смешаны явления городские и сельские. Быт этой окраины был результатом смешивания и разрыва многих житейских традиций, результатом глубоких необратимых социальных сдвигов. В. Шириков хорошо знает этот порой и неприглядный быт, эти, на первый взгляд, пестрые судьбы. Подобная пестрота жизненных явлений и характеров, такая бытовая неустойчивость среды, в которой обитают герои Ширикова, незаметно, но грозно встает на пути писателя, усложняя и без того сложную его задачу. И тогда в рассказе или повести, вооб-

ще в книге, очень просто стать рабом случайностей. Вероятно, эта опасность не грозит В. Ширикову. Потому что его отношения к миру и к людям, которых он описывает, вполне устойчивы и определены. За всеми неурядицами упомянутого быта (а куда от них денешься?) явственно проглядывается нравственная чистота и будничное, незаметное мужество простых и не исключительных людей.

Знание быта и жизненный опыт В. Ширикова пока еще не уравновешены чисто литературным опытом. Не всегда удачливым бывает автор в выборе тех или иных жизненных ситуаций, что происходит у него отнюдь не от бедности впечатлений. Скорее от богатства их. Все эти недостатки естественны и недолговечны. Важно другое. Важно, чтобы первая книга не стала по тем или другим причинам последней. А то, что следующая книга Владимира Ширикова не будет похожей на первую, что она высвободит его новые, может быть, и самому ему неизвестные возможности,— это мне кажется совершенно очевидным.

Василий БЕЛОВ

Владимир
Шриков

*ПЯТОЕ
ВРЕМЯ ГОДА*

РАССКАЗЫ,
ПОВЕСТИ

«СОВРЕМЕННОК»
МОСКВА · 1974

Шириков Владимир Леонтьевич.

Ш64 Пятое время года. Рассказы, повести. М., «Современник», 1974.

176 с. с портр. (Первая книга в столице).

Герои Владимира Ширикова — наши современники, рабочие. Сам из рабочих, автор досконально знает жизнь, которую описывает. Молодого писателя интересует внутренний мир его героев, их нравственное самосовершенствование.

Ш $\frac{70302-173}{M106(03)-74}$ 17Р-74

P2



*Светлой памяти
брата Александра
посвящаю*

РАССКАЗЫ

КОРЕНИХА

Дом стоял сбоку железной дороги, почти у самой насыпи, и каждый раз, когда мимо окон проходили поезда, он подрагивал мелкой порывистой дрожью, словно отряхивался от грязи и копоти, годами копившихся в каждой его щели. Раньше он дрожал еще сильнее — так, что дребезжали окна и плясала посуда в буфете, но теперь приутих: то ли от старости, то ли привык к извечной спешке поездов, а может, просто просела земля от десятка каменных одноликих великанов, двумя рядами выстроенных за последние годы до самого моста...

Настя лежала на диване, укрывшись цветастым самодельным одеялом, поверх которого для тепла был наброшен старый полушубок, и пыталась вздремнуть. Но сон не шел, как не шел он оба этих дня, когда свалила ее расслабляющая болезнь. День накануне вылежала с большим трудом и неохотой, внутри все свербило от непривычного безделья, и сегодня не выдержала, поднялась. Подтерла пол, собралась было постирать, но голову снова закружило, пришлось лечь. Смешно даже: полвека прожила, никакой хвори не привязывалось. Недосуг, видно, хворать было. Пятнадцати лет, после смерти отца, пошла на работу, помогала ставить на ноги младших, а там вскорости началась война. Мобилизовали ее, и вместе с ребятами из фабрично-заводских училищ шли два года за фронтом: восстанавливали дороги, строили мосты, рыли укрепления. А вернувшись домой, никого из родных она уже не застала: всех войной унесло, как лед половодьем, — и братьев, и мать.

В сорок седьмом вышла замуж, полтора года погоревав по невернувшемуся суженому. В поклонниках рыться не приходилось — не было их. Три вечера встречалась с Митей Корневым, низкорослым, малоразговорчивым мужиком, работавшим шофером при станции, и когда предложил — пошла за него, устав от барачной жизни.

Был муж угрюм, замкнут, к тому же сирота. Жалела его Настя в те дни и по этой жалости многое прощала впоследствии. Так стала она из Егоровой — Корневой,

а для товарок просто Коренихой. Работать после замужества так и осталась на путях. Другому не обучена, а здесь дело не хитрое: укладывай рельсы, вбивай костыли да разравнивай балласт. Работала Настя с охотой — свой уголок появился, обставить его хотелось получше, как в хороших семьях. Работа тяжелая, не каждый мужик выдержит. Так их, мужиков-то, в бригаде никогда не бывало. Бригадир, шестидесятилетний Авдеич, не в счет. И до сих пор посмотришь, одни бабы на путях. В мороз, в ростепель, в жару — знай маши кайлом да лопатой. Здесь выносливость нужна, а в ней баба любому мужику вперед очко даст. В выносливости мужику нет нужды, ему сила на разок требуется: подхватить что, унести, да после перекурить с полчаса. А бабе самой природой положено, чтоб ее на все хватало: детей носить, рожать, кормить их, себе на жизнь зарабатывать, да еще чтоб и мужу на утеху оставалось. Отмашешь смену, придешь домой, руки-ноги как не свои, а тут поесть сготовь, стирки целый воз. Ребята малые, глупые, увозятся, места сухого не сыщешь. Ушей, заштопай да посуду обиходь — еле управишься к полуночи, а с восьми опять за кирку. Умаешься за день — никакая любовь в голову не лезет, выспаться бы, а мужику одно на уме: отработал смену — и на бок, никакой больше заботушки, отчего же дури в голову не полезть?

Родила Настя семерых: шесть сыновей да дочку. Ребята что боровички рождались, крепкие, здоровые, а вот с Любашкой пришлось помучаться. Третьей она была, слабая родилась, недоношенная, вся с рукавичку. В глаза Насте говорили, что не выживет девка. Ничего, обошлось...

Другие, пограмотнее, частенько пеняли: незачем, мол, такую ораву было копить. Кто же ее копил? Здесь дело такое — само получилось. Что бы ни говорили, а Настя всех вынянчила, выкормила, одела и обула не хуже людей, и дивились ей малодетные соседки. Тяжело как было, поймет тот, кто сам испытал. Может, не сиди дома семь ртов, и она бы себя сохранила, работу полетче нашла — в тепле, в неге. Только некогда было расслабляться да нежиться. Деньги такой товар — как не растягивай, как не береги их, перед получкой во всех карманах затишье. А жить надо, по выходным хлопотала Настя, где бы подработать. Через дорогу — дом большой,

коммунальный, два подъезда. Лестницы жильцы по очереди моют, сколько человек в семье, столько недель. Настя частенько за кого-нибудь прибиралась. Работа хлопотная, грязная, не каждому хочется. А ей — подмога: вымыла, и в кармане повеселело. Цена твердая — двадцать рублей старыми за подъезд. Целый день семье без заботушки прожить можно. Работы Настя не боялась — дрова разделать, постирать за кого, и когда просили помочь, не стеснялась, не гнушалась — делала. Мир не без добрых людей, работа всегда найдется, а лишняя копейка в семье никогда не мешала еще. Когда ребята подросли, вроде полегчало. Любашка помогать стала — полы помоеет, сготовит, стирает, что помельче. К десяти годам все умела девчонка: и шить, и стряпать, и мыть.

Парням — тем хоть трава не расти, целыми днями в разгоне. Прибегут, кусок хлеба в рот, другой в карман, ковшик воды выдуют — и не поминай до вечера: в поле, на реке, в лесу бродят. Заявятся затемно — грязные, оборванные, голодные. Бранила их Настя, случалось, и бивала под горячую руку, когда терпения не хватало. Вертишься как белка в колесе, еле концы с концами стягиваешь, а тут глянь: один новые штаны о гвоздь разодрал, у другого ботинки, на которые рассчитывали, что до заморозков проносятся, в середине лета каши запросили. Как на огне, все на сорванцах горит. Они, конечно, сами понимают, как матери достается. Напроказят — и гулянке не рады, мучаются. А только вырвутся на волю — враз все забудут: опять по всем канавам, по всем заборам черт понесет. Что поделаешь — дети. Может, только и радости, что в детстве, пока все в новинку, все интересно. Пусть порезвятся, лишь бы не хулиганили. Но у Кореневых на этот счет строго: так приучены, что друг за другом следят и друг за друга отвечают.

Любила Настя своих ребятишек самозабвенно, кажется, всю себя бы по кусочку отдала ради них. Правда, был грех, печалилась одно время, что парни все, кляла себя, подумывала: чтоб двое старших девчонками были, забот бы, кажется, не знаять. Девчонки — те сознательнее, душевнее. От природы, что ли, дано сочувствовать? Но так Настя думала раньше. Теперь другая сторона на виду.

Выросли — одевать надо, а здесь на девку трудно угодить... Парням, тем что: вся мода — пара рубашек

да штаны черные, чтоб на заднице не лоснились. Дешево и нарядно. А когда девка — невеста, родителям разоренье. Ничего не поделаешь — девятнадцать годочков. Платья, туфли, костюм, пальто — все справить нужно. В прошлый месяц сапоги купили, семьдесят рубликов вывалили — с ума сойти! Конечно, сама теперь получает, но ведь месяц за одни сапоги работать пришлось. Хорошо — дома, прокормят, а если кто на стороне живет, тому как? Хотя сейчас многие так: на еде экономят, барахло покупают. Говорят, не в тряпках счастье, но и без них нельзя. В старом да латаном не пойдешь — белой вороной среди подружек. Тянутся ведь за теми, кто получше одет, не спрашивают, хватает ли достатков. Ничего, пусть одевается. Теперь двое младших дома осталось, остальные на своих ногах. Уговор такой — свою получку она на себя тратит. Пусть погуляет. Девка без парня, что трава без солнца — чахнет. Сколько, бедняжка, украдкой в подушку поплакала! Что не смотрит на нее никто, и нос с нашлепкой, и ноги бы получше не мешало. Все подругам завидовала — какие они ладные да хорошие. А пойдет куда с ними, оживится, засмеется и забудет про свои напасти. Красота разная, молодость одна.

Пришла и ее пора. Сейчас без своего Гришки шагу не ступит. Дай бог сладить. Парень вроде ничего, умный, смирный. Годика через два-три пора и о свадьбе думать, как раз в пору войдет. Ведь хорошо, что вовремя, а кто в девках пересидит, тем редко счастье бывает.

Настя задумалась, погладила голову.

Правда, видно, не ладится у них что-то последнее время. Хоть она с матерью и не делится, так ведь Настя не слепая, сама видит, что девка как в воду опущенная. Поссорились, видно. У молодых это часто бывает: из-за пустяков повздорят, злятся, весь свет не мил, а через день глянешь, опять воркуют как ни в чем не бывало. Помирятся и эти, делить-то еще пока нечего.

Настя встрепенулась.

— Ой, что же это я развалилась... Ребята ведь сейчас придут, кормить надо...

Она соскочила с дивана и босыми ногами прошлепала на кухню. Наскоро ополоснулась холодной водой, поставила подогреться чайник, кастрюлю с супом. Голове полегчало, и решила она собираться на работу.

Четыре последних года Настя работала проводницей. Работа казалась легкой и спокойной. Ездила сначала на Урал, там служил старший — Витька, первый вылетевший из родного гнезда, и забота о нем бредила душу матери.

Казалось, что там, в чужом краю, среди чужих людей, ее сын более других обижен, не накормлен, — и не раз украдкой всплакивала о нем Настя. В проводники пошла с одной тайной надеждой изредка видаться с сыном, и дорогой всегда заговаривала с сдущими солдатами — не доводилось ли встречаться с ее Витюшкой? Таких не было, но относилась Настя ко всем солдатам внимательно, даже нежно:

— Свой служит, знаю каково, — и когда ехали они в ее общем вагоне, делала неположенное: давала бесплатно матрасы на верхние полки. Без белья, правда, но за белье рубль надо, а солдату и это деньги. Тюфяки же пускай берут, все не на голых досках спать. И в любое время была готова напоить солдата чаем со своим сахаром. Прослужил сын на Урале два года, а виделась она с ним всего один раз, по первому году, когда случилось ему заехать в Свердловск по делам и вышел он на перрон. Увидела Настя, выскочила босиком прямо на снег, обняла, затащила в вагон, поплакала на взрослую худобу — и рассталась, будто второй раз служить проводила. Кто провожал, те помнят, как оно. После каждую поездку ждала ту минуту, когда появится грузный свердловский вокзал, и не сводила глаз с платформы — не заспешит ли по ней солдат...

На обратном пути спать не могла. Одно было спасение — разговаривала с пассажирами. Жалостливое бабье сердце чутко к несчастью, и с ней охотно делились те, кто ехал на похороны близких или возвращался из лагерей после свидания с сыновьями, мужьями.

Мало-помалу шло время, отслужил старший, но домой не вернулся, устроился на работу в Москве. В Москве же учился и второй — Юрий. На экзамены уехал тихо, не загадывая ничего, а вернулся — лица от радости нет. Сдал все на одни пятерки. И перевелась Настя на Московское направление, поближе к сыновьям. Ездила через три дня — трое суток в дороге, трое дома. Дома варила, стирала, мыла, запасала продукты и снова уезжала.

Ездила уже в купейном вагоне — пассажиров там меньше, люди все солидные, выдержанные. Но работать было скучнее. Раньше вся жизнь пассажиров шла на глазах. Люди спорили, охотно говорили вслух, для всех, теперь же закрывались в купе и говорили между собой. У нее же только спрашивали, как скоро будет та или иная станция, и не опаздывает ли поезд, когда подадут чай, и в каком вагоне ресторан.

Сегодня была Настина смена, и, поотлежавшись, она решила, что поедет. Хотя время зимнее, пассажиров немного, но напарнице одной все равно не справиться, молодая еще. Да и невыгодно поездку пропускать: часы не выработаешь, в конце месяца получать нечего. Поэтому и не пошла Настя к врачу — ветерком пообдует, само пройдет.

Прошло вроде.

Она отрезала полбатона, кусок черного, отсыпала немного сахара — в дороге чаю попить, все лишние копейки не тратить — завернула в газету.

С шумом и смехом вбежали в дом младшие — один во втором классе, другой в пятом. Подталкивая друг друга, разделись — и к столу — в футбол играть. Отец младшему на день рождения подарил, теперь они за нею целые вечера просиживают. Только старший за стол — брат из-под него стул возьми и выдерни. Хохот, потасовка — не выдержала Настя:

— Тише, бесенята... Соседи ведь внизу, а вы возитесь... — Угомонились, но баловство так и светится в черных глазах и в уголке рта шевелится. — Мойте руки, да за стол живо.

Разлила Настя по тарелкам суп, сняла с огня чугунок с картошкой, выскочила на балкончик, принесла в миске соленых огурцов — ешьте!

От мужика своего хоть немного толку, но это его забота, — огурцы, капусту, грибы на зиму заготовить. Если все в магазине покупать, никаких денег не хватит. А так хоть и небольшой огород перед домом, но себе хватает. Отпуск свой Настя осенью брала — картошку выкопать, дрова с улицы убрать, капусту засолить, грибы. Свои руки ничего не стоят. Зимой выставишь миску горячей картошки да грибы со сметаной — уписывает ребятня за обе щеки, только треск стоит.

Подала Настя каждому по ложке, собралась сама при-

сесть — хлоп! — сидит на полу, понять ничего не может. А младший стоит сбоку, палец у рта держит и с обидой в голосе спрашивает:

— Мамка, а ты почему не смеешься?

Охнула Настя. Хотя и больно, а от смеху не удержалась. Вишь, разбаловались. Им интересно, так думают, и матери нравится. Шлепнула для порядка, шикнула, а сама пошла шпилек поискать, чтоб голову убрать. Свои куда-то делись, решила у дочери взять.

Подошла Настя к комоду, верхний ящик выдвинула. Хранила там дочь всякую всячину: открытки, камешки, флакончики. Шпильки, знала Настя, хранились в коробке из-под леденцов. Она открыла коробку и отобрала десяток «невидимок», как вдруг откуда-то бумажка выпала. Небольшая, зеленоватая. Настя подняла ее и положила на место, машинально скользнув по листу взглядом, и, заметив свою фамилию, поднесла листок к глазам...

Прочитав начало, почувствовала, как деревенеют ноги, и тяжело опустилась на стул, не отводя глаз от лиловых, убористых строк.

— Все точно... Коренева Людмила... Ах ты пакость такая,— Настю затрясло, и от волнения лицо пошло пятнами.— До полусмерти излуплю стерву, не жалко... Господи,— схватилась она за сердце,— стыда-то сколько!— Поднялась снова... Присела, немного посидела на стуле и в нетерпении заходила по комнате, поминутно выглядывая из окна, не идет ли дочь. Походила, немного успокоилась, задумалась. Криком делу не поможешь, навредишь только. Девка шальная — не выкинула бы чего. «Ей и так сейчас весь свет тошен»,— подумала Настя, и злость постепенно стала отпускать ее.

Вскоре вернулась дочь и торопливо прошла к себе в комнату.

— Что, девка, догулялась?— спросила Настя напрямик, без обиняков.

Дочь дернулась, хотела, видно, сдерзить, но сникла, молча сглотнула наворачивающиеся слезы и, упав навзничь в постель, зашлась в рыданиях.

Настя испуганно бросилась к дочери, стала отрывать ее от подушки.

— Успокойся... Придумаем чего-нибудь... Да слушай же, что скажу,— крикнула она наконец, и дочь притихла, тяжело всхлипывая. — Поздно воду лить, не поможешь,—

и осторожно провела рукой по зареванному лицу дочери.— Он что, бросил тебя?— спросила она в сторону, покусывая ворот платья.

Дочь всхлипнула:

— Не... не знает он...

— Тогда вот что; о дурости своей думать забудь — дите никак губить не дам. А с хахалем твоим сама переговорю, когда вернусь.

— Са... сама я...

— Сама, сама,— передразнила Настя.— Излупить бы, чтоб места живого не осталось, да, видно, поздно уже — Эх, девка, девка,— сокрушенно продолжала она.— Не думала я, что так получится, все маленькой считала,— и решительно перевела дыхание.— Я сегодня уеду, ты тут не глупи. Ему передай, чтоб зашел, когда вернусь, вместе решим.

Настя вышла, но тотчас вернулась.

— Отца в это дело нечего впутывать, да он, может, еще и не приедет. Ребят утром покорми, не забудь...

Дочь согласилась, убито, но уже без слез.

Настя ушла на работу. На станции быстро приняла вагон, растопила печь, кипятильник включила — за хлопотами забылась беда, только зудело в груди что-то непривычное, тягучее.

Пассажиров было немного, человек двадцать. Когда поезд тронулся, Настя собрала билеты, разнесла по купе белье и, будто внароку, задержалась в последнем. Приметила Настя их еще на посадке — больно хороша была пара — молодые, красивые, обходительные такие. Он стелил ей постель, а она с детской улыбкой молодой жены следила за его уверенными, мускулистыми руками. Чужое счастье.

«Эх, держись, девка»,— подумала Настя о пассажирке, и словно что-то кольнуло ее под сердце. Вспомнила, уронила тяжелую, мелко разбившуюся о пол слезу — и в служебку бегом.

— Ты чего? — спросила засыпающая напарница.

— Так, спи...

Напарница шумно повернулась и всхрапнула, а Настя ткнулась головой в стол и тихонько, всласть выплакала.

Еле дождалась, когда поездка кончилась. Вернулись, сдала вагон сменщице — и домой. Только дверь отворила,

видит уже: зятек фактический сидит у стола. Сидит, сукин сын, жмурится и глазами по сторонам шныряет — стыдно небось. Маленький, пухлогубый, сущий телок! В другое время Настю бы смех разобрал, но сейчас посерьезнела. Поздоровалась — и к делу.

— Ну, что теперь?

— Что теперь, — развел руками зять. — Заявление вчера снесли, тридцать первого распишемся, как раз под Новый год.

Дочь стояла у печки и густо полыхала краской.

— Это-то все ясно. Свадьбу на какие шиши играть будете, или так, шатай-валяй думаете.

Парень замялся, но не смутился, полез за пазуху:

— Есть тут немного, возьмите — протянул тоненькую пачку десятирублевых. — Полторы сотни пока, да ведь еще больше месяца впереди, заработаю.

Настя засмущалась.

— Пусть пока у тебя лежат... У нас, конечно, сбережений особых нет, но ничего, кое-что добавим. Не хуже чем у людей будет, — решительно протянула она и потупилась. — Не думали мы, что так получится, да что поделаешь?

Помолчали. Настя задумалась, потом строго спросила:

— Ну, а как жить думаете?

— Живут же люди, проживем...

— Жить-то живут: и кошка живет, и собака живет... Я о другом говорю. Ты извини меня, малограмотную, если что не так, но не подумай, что я ее замуж толкаю, чтобы шито-крыто все сделать. Сглупила — ее грех, и я не прикрыть его хочу, а счастья вам обоим хочу, чтобы жили по-человечески, не маялись. Если не любишь али колеблешься, на нее как на жену не надеешься, то не женись. И нам и тебе лучше. Дитенка вырастим — семеро рук не оттянуло, восьмой не оттянет.

— Да что вы, — задохнулся парень... — Не подумайте чего, я давно ее знаю... Да мне, да мне жизни без нее нет, — решительно выпалил он и загорелся еще ярче. — А получилось так, что тут объяснять? — он потупился, замотал головой — все равно не поймете...

— И не объясняй, милой, не надо, я так понимаю. Я для ясности сказала, чтобы знал ты, что не одолжения прошу и не дочкой своей торгую, а о счастье вашем думаю. Ну, а коль любишь — дай вам бог всего хорошего.

Жить вот только тесновато будет — сам видишь, не густо у нас с местом...

— Жить я договорился, — обрадовался парень. — Тетка нас пустит, а сама к моим перейдет. Вот свадьбу только у вас, наверно, придется.

Все было решено в этот вечер, и началась у Насти новая жизнь.

Про свадьбу у Кореневых вскоре узнала вся улица, и тайная гордость жила в Настиной груди, что все будет сделано по закону, как положено, и она радостно рассказывала знакомым о всех мелочах приготовлений. Было только неприятно думать, что после, когда все откроется, те же товарки вдоволь попереминают косточки и ей и дочке. Что же поделаешь, пусть позлословят. Живые ведь люди, а грех да беда с кем не живут?

За хлопотами незаметно летело время. К свадьбе почти все было готово. Обрядили молодых — костюм, хоть и покупной, пришелся жениху аккурат впору, сшили платье невесте — длинное, по моде, красивое. Приглашены и дважды оповещены были гости. Уже договорилась Настя с соседями насчет посуды — у кого что взять, подыскала столы. Федосейч — сухой и молчаливый плотник из соседнего двора, сколотил десять скамеек, чтоб было на чем сидеть гостям.

Даже водку Настя привезла из Москвы — слышала, что там она лучше, не чета местному «сучку».

С деньгами, правда, подзатерло. Накоплений у Насти отродясь не бывало, весь расчет на получку пришелся. У соседей перехватила, в кассе взаимопомощи на работе взяла да еще нежданно-негаданно по лотерее оренбургский платок выиграла. Поколебалась сначала — не взять ли платком, давно мечтала, да решила, что обойдется. Деньги нужнее. Правда, когда деньжонок старший прислал, пожалела — выкрутилась бы и так, а теперь когда такое счастье выпадет?

Много ли, мало ли, а ушло на свадьбу почти шестьсот рублей. Раньше бы сказать только!.. Меньше никак нельзя — худо-бедно полсотни гостей надо пригласить. Одной родни с зятевой стороны пятнадцать человек — по своим теперь быть надо. Да дружки-приятели соберутся. Ничего, пусть гуляют...

Оставалось до свадьбы меньше недели, и собралась Настя в последнюю поездку. Чтобы часы не потерять,

пришлось ей сменами обмениваться, с расчетом, чтоб два дня до свадьбы и всю свадьбу дома быть. Перед отъездом затеяла Настя большую стирку — скатерти, занавески, шторы, половики вымыла. Выполоскала все и сушить развесила: что покрупнее — на чердак, а для мелочи поперек квартиры веревку натянула. Пока возилась, подошло время посадку делать. Охнула Настя, быстрехонько собралась — и на улицу. Морозило. Зардевшимся, переливающимся ломтем лежала в небе луна, и весело хрустел снежок под разношенными Настиными валенками.

До вокзала — рукой подать, только ходить неудобно. Сначала до моста крюк делаешь, перейдешь — назад возвращаться надо. Опоздаешь — не ровен час, прогрессивки лишат. С чужой бригадой едешь, всякие люди бывают. Нажалуются — объясняйся после. Настя перебежала мостки и свернула к линии — быстрее так. У светофора шумно пыхтел паровоз, готовясь стронуть грузный длинный состав.

«Ах ты напасть какая, — подумала Настя, — пережидать еще придется». Шумно дыша, заспешила она на междупутку к ближней тормозной площадке. Неуклюже забралась на нее, перешла на другую сторону. Мощный рев пролетающего курьерского заставил ее вздрогнуть и отшатнуться. Стоять было неудобно — бетонированная канава обмерзла и ноги соскальзывали. Со стуком и свистом громыхали ярко освещенные вагоны. Настя повернулась, сделала несколько шагов по ограждению, чтобы встать поудобнее, как вдруг нога, не находя опоры, подвернулась, и, всплеснув руками, Настя качнулась вбок, навстречу тяжелому, со множеством рассыпавшихся огоньков удару...

Закрутилось, завертелось все вокруг, и что-то острожгучее в затылке опрокинуло ее в забытие.

Очнулась она уже под утро — непонятным, кошмарным сном казалось ей ажурное сплетение ветвей на стене — тень от деревьев, освещенных желтым ночным фонарем.

На стон подошла сухонькая незнакомая женщина, вся в белом, поправила одеяло, погладила по руке: спи, милая, спи...

— Где я? — спросила Настя.

— В больнице, милая, в больнице, — ответила женщина и тихим шепотом рассказала Насте, что пробита у

нее голова — ударилась, видно, о бетонную плиту. Сразу, как привезли, сделали операцию, и теперь все должно обойтись, надо только отдыхать... В утомленной Настиной голове туманом поплыли мысли о свадьбе, о том, что вот в первый раз опоздала на работу, но все бессвязно, отрывчато, и она снова забылась.

На третьи сутки она уже встала с постели, подошла к окну. Посмотрела на густые, стриженные тополя, напугавшие ее в первую ночь, вздохнула. Каждый день приносили ей передачи и спрашивали, не отложить ли празднество до ее выздоровления. От переноса Настя отказалась — намечено, надо делать.

Организм ее, не привыкший к лекарствам и долгому отдыху, быстро восстанавливал силы, и, пролежав еще сутки, Настя захлопотала, засобиравшись было домой, но врач и слушать не стал:

— Никаких дел, голубушка. Из самой могилы, считайте, вытащили. Недельки две-три придется полежать без разговоров.— И Настя покорилась его властному тону. Но душа томилась заботами по дому, казалось, что без нее сделают не то и не так, и соседки по палате как могли, утешали ее.

Легким искристым снежком заканчивался декабрь. Его последний день был чистым, светлым, и с утра чувствовалось праздничное настроение врачей, сестер. Даже больные оживились, повеселели. Настя встала рано и сразу села к окну. Ее о чем-то спрашивали, она отвечала невпопад, а сама смотрела сквозь опущенные, узорчатые ветви и ждала, когда поедут здесь, этой дорогой, и боялась отвлечься хотя на мгновение, чтобы не пропустить, успеть взглянуть на молодых.

Ей казалось, что вот сейчас выскочит из-за поворота белая, в цветах и лентах машина, на заднем сиденье которой увидит она дочь-невесту... Вот сейчас, еще немного... Настя переносила и переносила момент, когда должна была появиться машина, и каждый раз вздрагивала, когда мимо окон проезжали редкие на этой окраинной дороге «Волги», «Москвичи». Жадно смотрела сквозь вспотевшее стекло — не здесь ли, но дочери все не было...

Пообедали и разбрелись по местам соседки: кто заснул, кто читал, а Настя все сидела у окна, уже не веря, что они проедут мимо, но все же надеялась, что проедут.

— Коренева, — позвали из коридора, — где ты там?

— Иду, иду, — вскинулась Настя.

— Тебе тут целый воз навезли всего, — весело заворчала санитарка, пропихиваясь к двери с огромной бельевой корзиной. — И цветы где-то раздобыли середь зимы. — Она тяжело плюхнула корзину на стол.

— К окну подойти наказывали, сейчас подъедут, — и скороговоркой заперебирала: — Наряженные такие, красивые, прямо ангелочки... — Любопытство уже толкнуло соседок по палате к окну, и когда подошла Настя, подвинулись, освобождая ей место, а сами деликатно сгрудились у краешка. Настя потянулась на цыпочках, заглядывая вниз, — да, конечно, они, и костяшками забарабанила по стеклу: здесь я, здесь...

Внизу стояла вся ее семья — семеро детей, муж, зять и еще несколько молодых ребят и девчонок, прохожие, а на дороге ждали машины, и первой — та, белая, украшенная цветами и лентами, которую выглядывала Настя весь сегодняшний день.

Снизу ей что-то кричали, махали руками, а она бестолково терла стекло рукавом халата и говорила с детьми.

— Витюшка-то когда приехал? — тыкала она пальцем на старшего, — похудел-то как. А Колька, Колька, вояка несчастный, что ж ты не писал так долго... — Она переводила взгляд с одного на другого и не могла наглядеться. В центре стояли молодые — смущенные, нарядные, взрослые, а за ними, то и дело поправляя галстук — сам хозяин Дмитрий Коренев, что-то степенно показывал жене на пальцах. Настя обняла окно — сквозь гомон пропустили голоса.

— Завтра заедем, обещали в палату пустить, — это старший, Витька.

— Мама, у нас все хорошо, не беспокойся! — это дочка, звонко, пронзительно...

— Там за нас хоть чаю выней, — озорно подмигивает зять...

Настя слушала и понимающе кивала забинтованной головой, затем, испугавшись, спохватилась, замахала руками — езжайте, езжайте, куда же раздетые на морозе стоите...

Ее поняли, понятились к машинам, начали рассаживаться. Настю тотчас затормошили товарки.

— Неужто все твои? — спросила рябая веселая старуха Марья, что лежала около дверей, и подивилась: — Не нынешняя, девка, у тебя семья...

— Как только вырастила всех? У меня трое — сладу дать не могу, а тут семеро. Чудно, — протянула санитарка.

— Так и вырастила, — заулыбалась Настя, — все живы-здоровы, не хуже других...

— Красавцы, красавцы, — затараторила Марья, — писанные красавчики, один к одному. Я и не видывала таких... Старшой-то который?

— С отцом рядом стоял...

— А, русенький... Я подумала — дружок чей, потому как светленький. Остальные все в тебя, смуглые, а этот, видно, в отца...

— В отца, в отца, — согласилась Настя. — Тот всю жизнь как лунь белый, так его до женитьбы цыганом дразнили. И третий, солдатик-то, тоже в него, а остальные все в меня.

— Ох, Настя, счастье-то у тебя какое... Самый малый уже вырос — живи и радуйся.

— Ну, хватит воду лить, давайте лучше чайку попьем — вишь, добра сколько натащили, — распорядилась Настя. — Сходи-ка, Марья, за кипятком, принеси чайничек, — она вытащила из угла букет гвоздик, искала глазами, куда бы поставить...

— Из Москвы, видать, Виктор привез, — заметила Настя, поглаживая белый махровый цветок, — у нас здесь таких нет... Садись с нами, Тоня, — кивнула она санитарке, — посидим маленько ради праздника.

— Посижу, — согласилась та, — начальства сейчас нет, по домам справляют. Пойду заварочки принесу. — И она пошлепала в коридор.

— Помогите, бабы, — потащила Настя свертки из корзины. — Наложили, будто не кормят нас здесь, — ворчливо посетовала она и вскрикнула: — А это еще что, хлеб-от пошто, — в недоумении вынула пышный белый каравай.

— Погоди-ка, — бойко заметила Марья, — знаю я эти штуки. Она помяла корочку, вытащила из середины темную, с блестящим горлышком бутылку. — Мотри-ка, вина нам прислали, молодых проздравить...

Рассмеялись. Собрали стаканы, выпили несколько глотков за здоровье молодых, даже Настя попробовала

алую, сладковато-жгучую жидкость, слегка отдающую ягодами, и, повертев бутылку, прочитала вслух: ликер.

— Жизнь прожила, не знала, что вино сладкое бывает,— под дружный смех удивилась она.

Незаметно подкралась ночь, и вот уже спят соседки по палате, сморенные усталостью и неожиданным весельем, только Насте не спится. Где-то вдалеке глухо и торжественно говорило радио, а Настя лежала с открытыми глазами и думала о детях. Ей было легко, голова не чувствовала никакой боли, только хотелось поговорить еще, рассказать, какие они, ее дети. Но крепким сном спали соседки, и Настя боялась пошевелиться, чтобы нечаянно не разбудить их.

...Радио смолкло. Раздался мелодичный, праздничный перезвон, и тотчас где-то далеко-далеко разлилось, зашумело навстречу ему веселье, и казалось, что жизнь опять начинается заново...

БУДНИЙ ДЕНЬ

Полдень. На небе ни тучки, только изредка шмыгает по двору ветерок, завивая ожившую после утреннего дождя пыль.

За столиком во дворе четверо играют в домино. Вчетвером играть неинтересно. Другое дело вечером, когда вокруг стола собирается не меньше десятка «козлятников». Тогда сражаются на «вылет», азартно, шумно. Партнеры горячатся, ругают друг друга за ошибки и, проиграв, тотчас занимают очередь еще на партию. А пока скучно. Все четверо — соседи, прожившие бок о бок больше десятка лет. Новенький здесь только девятиклассник Вадик. Его мужики приняли в свою компанию недавно — за смешленость и еще потому, что в длинные летние дни игроков частенько не хватает. Вадик играет рассудительно, так что доволен даже его партнер, одноногий сапожник Федя, первоклассный игрок и ворчун.

Федя ставит к кону последнюю костяшку и зевает: «Считай бабки», — а сам, отставив в сторону правую, «казенную» ногу, лезет в карман за папиросами. Во дворе тихо, только слышно, как воркуют под крышей голуби да за сарайками глухо ухаёт колун. Костяшки с сухим треском привычно разбегаются по столу, когда из-за домов, тяжело шаркая ногами, появляется Семен Васильев. Сегодня он при полном параде, и на солдатской, перекрашенной в черный цвет гимнастерке тускло отсвечивают в одном ряду Георгий и две медали, полученные в минувшей войне.

— Здорово, дед, — оживляются за столиком. — Чего это ты вырядился?

— Ходил, — сердито отвечает Семен. — Не дали ничего, едри их корень, старая, говорят, хороша.

Вот уже полгода дед мучается мыслью, что должен получить комнату в новом благоустроенном доме. Сегодня наконец, после долгих сборов, он решился и сходил в военкомат — самую почитаемую им организацию.

— А, плюнь, — говорит Федя. — Здоровье побереги. Куда тебе переезжать, здесь дотянешь.

— Как куда? — взвивается дед. — Я свое прошу, заслуженное. Три войны прошел, двух сыновей потерял — должно мне государство условия создать или нет? Чем тот толстопузый лучше? Ему б не дали, нешто бы я пошел просить?

«Толстопузый» — это Захар Головня, заноза в семейной совести. Они одногодки, и насколько хил и сгорблен Семен, настолько могуч и крепок Захар. Причудливо провела жизнь их по свету. Родились они в одной губернии, в один год, но до глубокой старости ничего не слышали друг о друге. В один день, в одном полку начали они военную службу — еще на той, далекой германской. Семен служил сапером, Захар — ротным запевалой, откуда перебрался в полковые писаря. С войны Семен вернулся в свою деревню с простреленным боком и травленными легкими, Захар привез с фронта коробку стальных иголок, которые продал в городе по самой выгодной цене. Семен косил, пахал, валил лес, в Отечественную мостил гати на Ладожских болотах. Захар же так и остался по писарской части.

Были у него две дочери и сын, которым каждый месяц высылал отец то посылку, то десятку переводом на личные нужды. Семен жил один-одинешенек и двадцатого числа ежемесячно получал свою пенсию.

Добился он ее, проработав несколько лет после колхоза сторожем в магазине, и тогда же дали ему комнатушку в доме, где жил Захар. Старики быстро сошлись, подружались и частенько певали вдвоем протяжные русские песни, и щипало душу слушателей от могучего Захарова баса, которому старательно вторил хриплым подголоском Семен.

Поссорились они этой зимой, когда Захар, переехав в отдельную квартиру в новом доме, пригласил друга на новоселье и там долго хвастался перед ним своим умением жить. По Захарову разговору выходило, что всю жизнь была у него работа, где дела особенного не требовали, а деньги платили исправно.

— Главное — бумагу уметь вовремя написать, — смеялся Захар. — Дела не сделано, так хоть отчитаться правильно. Это тебе не топором махать, здесь соображать нужно... Грамота у меня не ахти, а толк в голове был. Главное — в передовые не вылезть и в отстающие не попасть... На это у меня, парень, чутье было: там добавлю,

там из другого года чуть-чуть возьму — полный ажур... Все отчеты начальник только мне поручал...

— Так тебе что, за бумагу почет? — угрюмо спросил Семен.

— За ее самую, — подтвердил Захар. — Ценят заслуги. Видишь, квартирка какая — все есть: и вода, и тепло — никаких забот... Самая стариковская жилплощадь...

— Захочу, я тоже получу, — захорохорился было Семен, но Захар лишь присвистнул ему в ответ и показал кукиш.

Семен промолчал, но решил, что найдет правду, узнает, за какие такие заслуги выделен Захар, и добьется для себя такой же удобной комнатки.

Ссора не мешала им ходить друг к другу в гости, но каждый раз, когда сравнивал Семен свою жизнь и Захарову, по всем статьям получалось, что ему выпадало больше страданий и что он за свои без малого восемьдесят лет принес людям в несколько раз больше пользы, да и сам Захар не отрицал этого, а лишь подшучивал над Семеном.

Вот и сейчас, вернувшись из военкомата, начал вспоминать Семен свою молодость, рассказывая одну из немногих сохранившихся в памяти историй, уже не раз слышанных всеми, но за столиком увлеклись игрой, и слова старика уходили в пустоту. Он оживленно говорил, подогреваемый редкими, ничего не значащими репликами, брошенными из приличия: «Да ну?..», «Ишь ты...», и воспоминания возбуждали его. Хотелось хоть ненадолго вернуться в прошлое, показать всем, что и он был когда-то полон сил, задора, молодости... Был. Поговорить бы, подучить молодежь, — но у них иная жизнь, иные заботы, и нет у старика слушателей.

Выговорившись, дед умолкает. Минут пять еще сидит из уважения, беззвучно шевеля что-то губами, затем встает и медленно идет домой.

Во двор на велосипеде лихо вкатывает Юрка, брат Вадика. Он младше Вадика, но ростом повыше, да и в кости покрупнее. Они погодки: Вадик весной кончил девятый класс, Юрка — восьмой. Вадик скромненький, застенчивый, прочитал не один воз книг, в учении тих и прилежен. Юрка хулиганист и непоседлив. Учиться дальше он не собирается, ждет пятое сентября. Тогда ему исполнится шестнадцать лет, и он пойдет на стройку плотником.

А пока Юрка «гоняет собак», как отзывается о нем дед Васильев. Юрка напоминает ему собственную молодость, и за это дед любит Юрку, зовет не иначе как «дружок» и прощает постоянные шутки в свой адрес.

Семен опирается на костыль и приветливо щерит рот, собираясь что-то сказать, но Юрка опережает его. Он лихо нажимает на тормоза, так что заднее колесо чертит по земле изогнутую полосу, останавливается рядом с дедом и громко здоровается:

— Здравствуй, дедушка Бугров.

За столиком прыскают в кулаки. Бугрова — одинокая пятидесятилетняя женщина, которая живет в доме напротив и приглядывает за Семеном, обихаживает в комнате, стирает, готовит. Мужики иногда дружески подтрунивают над Семеном, расспрашивают его о достоинствах молодухи, а тот смущенно отшучивается. Юрку же он ругает спокойно, даже рассудительно:

— Дурак ты, Юрка, сопляк паршивый...

Юрка скалит крупные зубы, а когда дед замолкает, серьезным тоном спрашивает:

— Дедушка, а по-настоящему как твоя фамилья?

— Дыра кобылья, — в сердцах огрызается Семен. Юрка доволен. Он отталкивается и едет дальше. Обогнув столик, снова подъезжает к деду и останавливается, вежливо кланяясь:

— Здравствуй, дедушка Дыра кобылья...

Теперь во дворе раздается дружный хохот, а дед качает головой и корит Юрку:

— Эх ты, мазурик, босота, золотая рота... Ты бы с брата пример брал, а не шпанил. Небось на грамоту прилежания нету, не как у Вадьки?

Юрка гмыкает:

— Мы с ним один букварь на двоих искурили.

— Большой ты парень, а ума нисколько нет.

— Есть, дед: два даже. Один в голове, другой задний...

— Во-во, — оживляется Семен. — Второй бы давно пора отшибить. Боек ты, парень, в карман за словом не полезешь...

— А чего лезть, его туда никто не ложил. Ладно, дед, я поеду, начальство ждет. А ты здесь за меня будешь. — Он лихо гикает, привстает на педалях и вихрем уносится за угол. Семен неодобрительно смотрит ему вслед:

— Как ведь бывает: одна мать, одна семья, а дети разные...— Но поговорить ему не удастся. Из соседнего двора с пилой под мышкой спешит Аким. Это пила Семена, его гордость. Стальная, всегда наточенная и разведенная, она режет дрова удивительно легко. Дает ее Семен чужим неохотно — не ровен час, загубят инструмент. Долго он возился с ней. Обделал, наточил, ручки специальные вырезал, чтобы как раз по ладони были, и уверен Семен, что второй такой нет во всей области. В чем-чем, а в пилах он толк знает, больше десятка лет лес заготавливал.

— Здравствуй, честная компания.

Акиму отвечают недружно. Вот-вот отрубят шестерочный дупель, игроки сосредоточены. Наконец с форсистым стуком дупель отрублен. Очки сосчитаны, и Вадик тянется за коробочкой, сложить костяшки.

— Проиграли,— равнодушно говорит он.— Пойду прочитаю.

Вадик уходит, на его место присаживается Аким. Он весь лоснится от пота, в волосах рябят опилки, а в прядке надо лбом застряла маленькая щепка.

— Спасибо, Семен,— восхищенно тянет он.— Пила у тебя...

— Это не пила, а кормилица,— хитро улыбается дед.— Пила-то у тебя воц идет,— он показывает сморщенным пальцем вдаль, где семенит с ведром Анна, жена Акима, баба вздорная и склочная.

— Эта точно, пила,— вздыхает Аким.— Шесть кубометров разделал, уложил — штука? Хотел на чекушку попросить, так полчаса ныла, пока дала. А кормилица у тебя хороша.

Голова Семена от гордости поднимается:

— По России такую поискать. Режет, как нож масло... На хорошие руки, так и дергать не надо, сама пилит.

— Точно, сама. Гвоздь перепилила, я и не заметил.

Опешивший дед ругается, хватает пилу, смотрит вдоль бороздки, что посреди зубьев. Зубья на месте, и сбоя никакого нет. Мужики смеются, довольные шуткой, и с ними тоненько заливается Аким. Дед беззлобно ворчит:

— Баламут ты, Акимка. Струмент уважать надо, а не подъелдыкивать. Ты ж одной середкой ерзал, а я учил — пилу от ручки до ручки пускай. Придется подправлять.

Он медленно идет к сарайке, достает разводку, напильники, усаживается на скамейке под тополями и тихонько мурлычет про себя. Двор пустеет. Игроки, позевывая, расходятся до вечера. Остается один Семен.

Он мерными, осторожными движениями водит напильником по зубьям: вжиг-вжиг, и солнце щедро льется на его спину, обтянутую ветхой гимнастеркой, сквозь которую проступают узловатые, мосластые плечи. Закончив работу, он прислоняется к нагревшемуся шершавому стволу и дремлет. Теперь для него забыты прошлое, настоящее, только тишина и блаженство покоя окутывают его. Вместе с Семеном дремлют угретые ласкающим теплом деревья. Они стары, как и он, и такими же неизменными кажутся год от года окружающим. Старость останавливается в годах.

Двор оживает к вечеру, когда уставшее солнце, падая к горизонту, запутывается в деревьях и длинные, размытые тени расползаются по плотной, утопанной земле. Около столика не протолкнуться. Сидят мужики, чадят сигаретами и ведут неторопливый разговор о последних новостях в политике, о новых решениях и промахах местного начальства. В разгар спора — правильно ли перекопали недавно заасфальтированную улицу, влетает Юрка и кричит:

— Дед, встречай, жена едет.

За ним с приглушенным урчанием вкатывается грузовик и, сверкнув лобовым стеклом, останавливается неподалеку от столика. Рядом с шофером торжественно восседает Бугрова. Едва смолкает мотор, она открывает дверцу и выходит.

— Едри-корень, — с восхищением ругается Семен, но в душе он польщен и смущен.

Бугрова почтительно здоровается с мужиками и подходит к Семену.

— Дрова вам вывезла, Семен Петрович, — застеснявшись, говорит она и прикрывается уголком платка. — Четыре кубометра взяла, что лучше, старалась... Березки больше, для зимы...

— Ладно, — бормочет дед. — Ништо хлопотала, вывез бы. Идем, глянем, — и он плетется к машине.

Один борт ее открыт, и Юрка уже прыгает на самом верху, сталкивает дрова. Бревна в беспорядке валятся вниз, с глухим стуком подпрыгивают и раскатываются.

Скидать дрова — минутное дело. Ушла машина. В задумчивости стоит Семен перед сиротливой кучкой.

— Давай, дружок, попробуем пилу, — нерешительно просит он Юрку. Тот соглашается, кладет на козлы небольшую, сплюснутую березку. Дед приносит пилу и медленно, налегая всем телом на ручку, начинает пилить.

Выплюнув на ходу папироску, подходит от стола Федя.

— Дай-ка, дед, попробую, на что дружок твой годится.

Юрка встряхивает плечами и перехватывает ручку.

Пила заходится тонким, стрекочущим звоном и непрерывно порошит сухой, завивающейся вверх пылью. Один за другим потянулись от столика любопытные, и вот уже две пилы вперегонки ведут свои песни. Одна позванивает уверенно, переливисто, другая пофыркивает баском, выплевывая с каждым ходом порцию белых, волглых опилок. У Акима с Вадиком получается что-то плоховато. Дергают, жмут, наконец пилу совсем заело посреди бревна.

— Э, не так, ребята, — подходит и учит дед. — Вытаскивай пилу, здесь в разгон пускать надо. Видишь — кремлянка, елка на болоте росла, северный бок у нее засмолился что железный. Иногда застрянет, пилу вырубать приходится. А теперь на бочок — и продолжай...

Дед доволен — дело пошло. Больше всех старается Юрка. Он всегда так — в любом деле первый помощник. Дрова разделать, грядки вскопать, деревья садить — просить не надо, сам придет. Работает он азартно, весело. Не для себя, не по принудилровке — ради доброго слова. А раз так, можно и постараться, помочь людям. Работать всегда весело. Здесь ты взрослый, сам себе голова — вот почему тянет Юрку в плотники. Остальных тоже забирает задор работы — уже под четырьмя колунами хрястают и разлетаются в стороны расколотые плашки. Подходит к работающим и Захар. Шел мимо, решил навестить соседей. Здоровается со всеми за руку, заговаривает с Семеном — хвалит дрова. Дед подначивает:

— Бери колун, покажи, на что купцы способны. Тебе теперь ни с какого бока не дует, еще глаже будешь.

Захар отделяется шутками — бережет авторитет. А мужики вошли в азарт — без него какая работа? Юрка

взялся соревноваться с Федей, поставил один за другим три полена и машет. Тюк-тюк,— готово, осина — самое слабое дерево, вся польза от нее, что в дымоходе чище. Колет, а сам глазом косит — не отстать бы. На четвертом чурбаке осечка. С виду обыкновенный березовый кряж, толстый, приземистый, со старческой замшелой корой, а колун отскакивает от него, как от резинового.

— Брось, не мусоль,— говорит Федор.— Это тебе не осина, видишь — витая? Здесь удар нужен.

Юрка вспыхивает, закусывает губу и размахивается еще раз. Замах у него бабий, ударяет не из-за головы, а сплеча. Захар пренебрежительно машет рукой: а ну, дай! Захар здоров, ничего, что в годах, двухпудовкой перекрестится. Он берет колун, вертит его, крякает и с силой бьет по чурбаку.

— Сбоку, сбоку отщипни плашку, он и ослабнет,— советует Семен. Он внимательно следит за работающими и кряхтит после каждого сильного удара.

— Ничего, поддастся!

Чурбак в самом деле поддается. Сначала колун увязает в древесине, оставляя тонкую, чуть заметную трещину, а после восьмого или девятого удара кряж разваливается пополам. Половинки взъерошены, перекручены.

— Дьявол ты какой, Захар,— говорит дед.— Нам с тобой рядом встать, не поверит никто, что одноклассники. Мохнатый, пузатый — суций медведь.

— Нет, не то уже, слабею. Сердце сдавать стало,— жалуется Захар и отдает колун Юрке.— Прихватывает ногами...

— Да с чего ему сдавать,— заводится Семен.— Неужто уработался? Службы ты не видел, в колхозе не ломил, в ночные смены не рабатывал — отчего сердце прихватывает? С жиру, поди, так на курорт съезди, там всех толстопузых лечат — этой самой, диетой. Приезжают сухие такие, поджарые. Съездил бы — деньги у тебя есть, путевку по блату достанешь...

Но Захар отшучивается, добродушно смеется, и Семен умолкает. Куча расколотых поленьев растет, уже расчищают место и укладывают на землю колья, на которые рядками ложатся беловато-желтые, сочные поленья. У Феде передышка, и он смотрит, как Юрка бьет мимо трещины.

— Э, дружок,— поддевает он парня,— а глаз у тебя не точный, не плотницкий. Хороший плотник спичку с торца разрубает. Юрка молчит, метится в одному ему заметную цель на чурке, прикидывает, попадет ли в спичку, потом шмыгает носом:

— Подумаешь. Я тоже могу.

— Да ну? — шутливо поражается Захар.— Неужто сможешь? — Он достает из кармана коробок и втыкает спичку в полено. Тотчас начинается спор, можно ли разрубить спичку. С первого раза Юрка промахивается, а во второй сбивает спичку обухом. Попадает только Федор.

— Работнички,— ворчит он,— снайперы. Учитесь, пока старики живы.

Когда в работе начинает проглядывать конец, из магазина прибегает Санька и приносит бидончик с квасом. Квас пьют по очереди, прямо через край, смачно, с криканьем. Трехлитровую тарку выпивают одним духом. Все — конец! Не заметили, как смахнули. Долго ли четыре кубика на десятерых мужиков? Глаза страшатся, руки делают. Одна Бугрова только еще суетится у поленницы, заметая щепки и распахивая их промеж поленьев — зима все приберет.

Федя отзывает Юрку в сторону.

— Подработать хочешь?

— Где?

— В яслях дрова разделать. Шестьдесят кубов метровки пополам. Делов на неделю, по тридцатке есть.

Юрка мнетя:

— Ну, вам больше, а так — согласен.

— Брось, я работаю поровну. Значит, завтра сходим договоримся.

Мужики потеснее усаживаются вокруг стола и закуривают. Легкой приятцей ноют набухшие мышцы, и дышится привольно, сладко.

— Ладное дело организовали, помогли деду...

— Спасибо, мужики, за доброе подспорье. Мне бы до зимы тыркать хватило. А я всегда удружу, чем могу.

Темнеет. Мужики сидят еще немного, прощаются и расходятся по домам.

Последним уходит Семен Васильев. У крыльца он останавливается, растроганно любуется белеющей в сумерках поленницей — и не хочется ему сейчас ни новой комнаты, ни Захарова посрамления.

ПРАЗДНИКИ

Сегодня — праздник. Шапкин проснулся рано, когда за окном только-только начинало брезжить утро, подсинивая свежий, пушистый снег на оконных рамах. Стараясь не шуметь, Шапкин наскоро оделся, с готовностью и в охотку принес воды, дров и растопил печь. Всему этому с добродушной грубоватостью удивилась проснувшаяся жена. Прожили они вместе больше четверти века и привыкли друг к другу, как привыкают к вещам. Жили сравнительно мирно — не то чтобы в любви — оба уже напроць забыли эту хмельную, дурманящую пору молодости, а о том, что жизнь может быть иной, построенной на уважении, согласии, — об этом не знали и просто не думали. Жили особо не ссорясь, а если что и случалось, то скоро забывалось — опять в силу той же привычки. Скандалили чаще всего в дни получек, когда Шапкин возвращался домой «на взводе». Жена еще с порога безошибочно определяла его нетрезвость и сразу начинала вспоминать все его прегрешения последних лет и кляла на чем свет стоит, не забывая пожалеть о своей загубленной жизни. Шапкин слушал и отмалчивался. Иногда, правда, он всныхивал и со злости пьянствовал еще десь-два, но вернувшись, молча слушал жену, обещавшую не кормить его или выгнать из дому, и удивлялся про себя бабьей способности злиться из-за пустяков. Дни шли, обиды остывали, и все оставалось по-прежнему.

Сегодня ждали гостей — обещали заехать родственники — свояк с женой и братом. Жена и теща хлопочут на кухне — начинают поспевать пироги, потому женщины спешат, нервничают, торопливо настилают на стол полотенца, трусят на них мукой.

Зарумянившийся, пышущий жаром рыбник первым высажен из духовки. Его внимательно разглядывают, слегка мнут углы — и хозяйка облегченно вздыхает.

— Вроде ничего, а то за духовку боялась: вдруг опять печь не будет.

— Так ить дрова другие, тем разом все мученье из-за сырья было... Хозяйка отмахивается, подтрунивает:

— Пьяница вывозил — чего спрашивать. И в этот раз такие бы были, хорошо сама побеспокоилась. — Шапкин хочет возразить, что дрова выбирал и грузил он сам, жепа только домой их сопровождала, потому как самому ему на работу надо было, но молчит, не хочет с утра портить день...

Выпрямившись, жена прогибается в пояснице и, передохнув, снова склоняется над столом. Заготовленные, уже поднявшиеся и слегка подпухшие пироги подправляются, укладываются на лоснящиеся от масла листы и один за другим отправляются в печь — все быстро, споро, и волнует хозяйек одна лишь забота — как бы не просмотреть, не дать пригореть. Шапкин еще немного стоит, выжидает, потом уходит и садится к окну. Он уже привык, что его считают пьяницей, хотя, по собственному разумению, он пьет редко и всегда по причине. И тем более обидно, что в последние два месяца он выпивал всего трижды, и то с согласия жены, но бабий ум короток. Сегодня же с утра что-то тяжелило голову, хотелось выпить стопку, от которой, как ему казалось, наступит спасительное облегчение. Но, зная характер жены, он решил не настаивать.

Стряпня подходила к концу, когда вслед за приглушенным стуком в дверь пронзительно заверещал звонок. Шапкин с готовностью выскочил в прихожую.

— Заходите, заходите...

— С приездом, гости дорогие. А мы еще по хозяйству хлопочем...

— Это дело такое, пачнешь, скоро не кончишь, — басыт свояк, заполнив дверь крупным, грузным телом.

— Митрий Емельянович, Ксюша, с приездом вас, — бабка протискивается вперед и, кланяясь, протягивает сухонькую руку своему первому зятю, с которым видится не часто и, может быть, поэтому любит больше других. — Дайте хоть взглянуть на вас, столько лет не виделись...

— А ведь три, — подтверждает Ксения.

— Да проходите, что у дверей толпиться, — говорит Шапкин и спохватывается: — Ивана что же не прихватили?

Свояк степенно чешет подбородок.

— Как сказать, парень... Прихворнул он, третьего дня какая-то гадость привязалась...

Шапкин с озабоченностью покачивает головой, а старуха всплескивает руками.

— Врач сказал: двустороннее воспаление легких,— объясняет Ксения.— Второй раз его так крутит. Прошлый год для завода лед морозил, тоже прихватило. Жадность одолевает, все денег больше надо...

— Не ему, той вертихвостке надо. Вы, бабы, все такие, за деньги мужика сожрать готовы.

— Тебя сожрешь,— откликается с кухни жена.— Рассаживайтесь лучше, пока горячее все. Успеете, наговоритесь.

— Ладно,— потирает руки хозяин.— С дороги, с морозу, оно не помешает...

— Да погоди, дай отдышаться, не на гонках. Лучше покажи, как устроился на новом месте, мы ведь не бывали.

Бабка ведет гостей в спальню, показывает обстановку, готовя при случае похвалиться какой-либо обновой, и словоохотливо вспоминает все подробности получения квартиры и переезда.

— Новую хотели дать, со всеми удобствами,— шепчет она.— А его как раз в слесаря понизили — выпивши на работу пришел. Вот и переселились в старую...

— Ремонт, конечно, сам весь сделал,— входит и останавливается у дверей Шапкин.— Главное, простор здесь. Потолок — смотри какой, три с половиной. А то в новый переезжают, как в клетушку, не люблю я. Здесь и воздух сухой, чистый, правда, с водой, с дровами возня...

Свояк соглашается:

— Хорошая квартира, светлая... Да и просторнее, не как было.

Хозяйка тем временем хлопочет у плиты, бабка выставляет на стол стаканы, стопки, тарелки. Все усаживаются вокруг стола. Главные новости уже иссякли, а переговорить еще ни о чем не переговорено.

— Ну, с приездом, со встречей.

Шапкин жмурит глаза и тянется к отборным, с пятикопеечную монету, упругим рыжикам.

— Попробуйте, оцените засольчик, сам ездил...

Свояк неторопливо, обстоятельно пробует, покачивая головой, но себя блюдет и не спешит к другой стопке, услужливо налитой хозяином. В передней снова вздрагивает звонок. Бабка спешит к двери. За столом гадают, кто бы мог быть, а в проеме уже торчит долговязая, включенная фигура. Это — Яша Тишкин, сухощавый мужик

лет пятидесяти, сосед и вроде бы друг Шапкина. Он здоровается и нерешительно заминается у порога, но уловив радушный, приглашающий жест хозяина, охотно присаживается к столу. Он уже навеселе и несколько минут сидит молча, подчеркнуто внимательно слушает каждое слово, потом, улучив момент, вступает в разговор:

— А я вот с поминоков только что, по делу забежал. Друг у меня недавно помер, Федор вы знаете. Поминали его, значит, на сорочинах. Хороший мужик был, только на одно я в обиде: почто он не сообщил, как оно там. Может, чем жить и мучиться, я сам туда хочу, а на поминках велю не плакать, а водку пить, петь и плясать.— Он ухарски мотнул головой и притопнул. Голос его резкий, высокий, и Ксения с непривычки протирает уши, а хозяйка поддевает:

— Я обязательно спляшу, только моего прихвати.

— Ты попляшешь. Тебе с моей в одной бы клетке сидеть...

Бабы смеются.

— А чего же женился, кто приневоливал?

Тишкин щурится, словно проглотил что-то очень кислое, с сожалением кряхтит:

— Так я думал, она больше двух лет не протянет, а она еще троих, как я, переживет запросто.

— Пуговицу хоть застегни...

Шапкин изогнулся, хотел было взглянуть, но Яков укоризненно посмотрел на него и закачал головой.

— А-я-яй, какой глупый человек. Это бабье дело, разные пакостные шутки шутить, а ты и веришь,— поперхнувшись, долго и надрывно откашливается.

Женщины с любопытством следят за пьянеющими мужиками, за их несвязной болтовней, потом уходят в другую комнату. Тишкин порывается было удержать их, но Шапкин останавливает: не надо. Старуха осторожно притворяет за собой дверь и вздыхает.

— Дня ведь трезвым не бывает,— говорит она пониженным голосом,— соседку бог навязал. Шофером работает, халтуру сшибает, а жене шиши носит.

— Ништо бы той и мучиться,— поддерживает хозяйка.— Ребятишек нет, гнала бы на все четыре. У меня ума не было, маялась. Сначала ребятишек жалела, потом людей смешить не хотелось. На нынешнюю бы пору — враз нашла управу.

— Был бы покой, никаких денег не падо,— соглашается Ксения.— Посмотришь на иных — идет в грязи, сопливый да дружков ведет таких же, а жена обихаживай, тьфу! Моего тоже соседи начали втягивать, не знаю, что и делать.

— Ты, девка, ежели так, приструни вовремя, не запускай. Кто запил, тот, считай, пропащий человек, издавна так ведется. Вот баламут пришел — всю жизнь ни кола, ни двора.

Бабы говорят тихо, но к настороженному Яшкиному уху долетают обрывки фраз. Слышно плохо: но он понимает, что говорят о нем, и говорят нехорошее. Яков поднимается из-за стола.

— Спасибо, я пойду. Ждут меня, я фотокарточки обещал принести,— неловко врет он и уходит, бесшумно прикрыв за собой дверь. Жалко ему, что опять не посидел в хорошей компании. Хорошим, по рассказам соседа, он считает Дмитрия.

Яков уходит, а свояки отодвинули локтями посуду и говорят о своем, наболевшем.

— Я скажу не хвалясь: Борьку, старшего моего, ты помнишь, видел ведь — это голова. Его сейчас при университете оставили, в лаборатории,— Шапкин поднимает палец и многозначительно качает им.— Государственное дело!.. Природа свое пробьет, я давно знал. Она найдет выход. У меня не вышло — у детей или внуков получится, но Шапкиных будут знать. Наш корень, дети простых крестьян,— он всхлипнул.— Знаешь, как это важно человеку знать, что от его жизни полезное что-то осталось...

— У меня Мишка тоже смышленный, страсть,— скороговоркой забасил свояк.— Я ведь получаю, сам знаешь сколько! — ему в техникуме стипендии не положено было, а ему платили, за учебу платили, понимаешь?

— Он у тебя силен. Физически силен, а у Борьки голова...

— Младший у вас хорош, приезжал недавно.

— Не, этот молодой еще, больше гулянье на уме. Но должен заметить, что мы им довольны, да. И на работе его ценят, уважают. Худоват немного, да ничего...

— Ничего. У меня тоже чуть ли не до тридцати лет штаны съезжали. Были бы кости, мясо нарастет. Ему в пору входить надо, полнеть, расти уж некуда...

— Я что, моя рапсодия сыграна,— Шапкина забрало.— Сыны — вот нынче главное. Теперь и умирать не боюсь, взглянуть бы, как Борька в науке закрутит.

— Я тоже ничего не боюсь и раньше не боялся. На Сипявинских высотах разучился, когда за один день восемь раз в атаку бегал. Бежишь, бывало, и материшься во все горло, чтобы дорога не так заметная была. Ну, а добежишь...

Свояк застучал кулаком по столу и попытался командовать, вообразив себя снова тем бравым лейтенантом, каким он смотрел с выгоревшей послевоенной фотографии, хранимой у Шапкиных,— в новеньком, с наградами мундире. Что были за награды, разобрать не удалось, как раз на них лежали фиолетовые, выцветшие со временем строчки лихого фронтового привета: «Дорогим сродственникам от командира взвода прославленного Ленинградского фронта».

Свояк знает, что Шапкин не воевал, рассказывает азартно, и получается по его разговору, что всю войну был он в самых трудных местах и играл там всегда важную роль.

А Шапкину похвастать нечем. Сидеть же, поддакивая, или мимоходом вставлять те короткие впечатления о том, что ему пришлось чувствовать в сорок первом, выводя из-под носа немцев последний эшелон с эвакуированным имуществом, когда он мучительно боялся одного — не был бы поврежден путь впереди — об этом говорить не хотелось. Да и что в этом интересного для фронтовика, на своем горбу испытавшего все тяготы передовой? У него своя боль, которую он хранит, которой гордится...

И Шапкину вдруг мучительно захотелось снова пережить тот день, когда он с больной головой стоял у ларька, потягивал пиво с такими же приبلудившимися собутельниками и к ним подошел коренастый, уже стареющий капитан 3-го ранга и остановился рядом с Шапкиным. Их тотчас окружили, и каждый старался как бы невзначай упомянуть о своем морском прошлом, о бывших подвигах, о походах на крейсерах чуть ли не к Америке, а моряк молчаливо хмурился. И тогда Шапкин, еще не пьяный, но уже хмелеющий от пива, обронил фразу, услышанную им когда-то от случайного приятеля:

— А я подвигов не видел. Шесть лет мотылем на тральце пропахал. Так и прошло все одним днем.

Тогда капитан 3-го ранга отер лысую, с редкими черными волосинами голову, хлопнул его по плечу и сказал, что верит одному Шапкину, ибо «мотыль» и «тралец» может сказать лишь моряк. После они вместе сидели в ресторане и пили. Пили за знакомство, за друзей капитана 3-го ранга, погибших на орденоносной, лучшей на Севере подводной лодке, пили за неизвестного Шапкину командира другой подлодки, со странной, нерусской фамилией, утопившего какой-то крайне важный немецкий транспорт, за что во всей Германии во второй и последний раз за всю войну после Сталинграда был объявлен трехдневный траур.

— И не важно,— говорил капитан 3-го ранга,— что немногие пока еще знают эти события и нет у экипажей тех лодок заслуженной ими славы. Много было таких — неизвестных героев в той великой войне. Но у каждого из них есть свое имя, свои родные, свои друзья, и пока живы люди, помнящие их, будут жить и те, кого они помнят...

Много что еще говорил капитан 3-го ранга, жаль не запомнил Шапкин самих слов, но смысл он помнит хорошо — очень правильно было все тогда сказано.

В тот вечер он сидел уверенный, гордый, выставив на вид лацкан с облупившейся красной, единственной звездочкой, полученной им в сорок третьем, как раз в тот день, когда у него родился первенец и он, ошалевший от радости, роздал в роддоме весь только что полученный паек по особой норме, полагавшийся ему как работающему на железной дороге.

Он сидел и понимал, что звездочкой своей он ровня с суровым, отмеченным тремя рядами орденских планок капитаном 3-го ранга, что для всех прочих — они старые друзья, связанные общей, может быть, случайностью, уберегшей их от гибели. Он согласно кивал своей пепельной головой со шрамом над избровьем, прочеркнутым шальным осколком от смотрового стекла, и гордился, может быть, впервые за всю жизнь, по-настоящему гордился орденом.

Но неожиданно вспомнил и понял вдруг Шапкин, что уверенность его не по заслугам, что обманом добился он расположения капитана 3-го ранга, и тогда, стыдясь и не-

годуя на себя, он с маху, разом признался в своей неправде, которую сказал не из корысти, а единственно ради того, чтобы с хорошим человеком, с настоящим фронтовиком помянуть добрым словом всех погибших на войне.

И капитан 3-го ранга не обиделся, не заругал Шапкина, а молча и внимательно выслушал его сбивчивое признание, потом спросил о работе, об ордене — и медленно, убежденно сказал, что нет в том беды, что не каждому довелось мокнуть в окопах и самому убивать врага, но в том беда, если человек вдруг не может понять сопричастность своей судьбы с судьбой своего поколения. Главное, чтобы каждый человек до конца исполнил назначенный ему долг, и если долг исполнен с честью, так как надо, — значит, можно смело идти по жизни...

Шапкин думал раньше и сам так же, ему только надо было, чтобы кто-нибудь подтвердил его думы.

И захотелось ему тогда встать — торжественно, в почтительной тишине и сказать громко, во весь голос, что они — его сверстники, его поколение, сделали все, что могли, — уберегли, отстояли Родину!

Хотелось сказать это так, чтобы у каждого слушающего защемило сердце...

И еще ему хотелось чуда: чтобы ненадолго, всего на одну минуточку проснулись и встали все, лежащие в земле, безвестные и прославленные, совсем юные и пожившие в этом мире, — встали, чтобы посмотреть, узнать — за что же погибли они. Как крепок и спокоен был бы потом их сон!.. Об этом же Шапкин думает и сейчас и говорит свояку, но тот не слушает. Он помнит только себя, только то, что он тоже видел смерть, тоже мог погибнуть...

А в засыпающей на зиму земле спят миллионы людей — гражданских и военных, и острая, жалостливая боль за них берedit душу Шапкина.

Хочется ему от жизни немного — права сидеть так, как сидит сейчас свояк, вспоминать, переживая свое и чужое страдание, и знать, что никто не усомнится в его словах, не укорит, что он не был на фронте... Не был, но отдавал ему все, что мог и что имел, — а это разве скажешь?

Воспоминания ободрили и встряхнули Шапкина. Знает Шапкин, что, как только трудно будет стране, — он

первый поднимется на помощь, готовый к любым лишениям, к любым испытаниям,— и как бы тяжело ему ни пришлось — не пожалуется, не возрошчет.

Но сейчас стране не трудно — выправились, наладилась жизнь. Теперь другие — помоложе, понапористее — куют беспрестанные успехи и победы — за ними Шапкину не угнаться... Он — в резерве...

Свояк, захмелев, сонно тычется в стол.

— Идите, поспите хоть,— ругается хозяйка. От ее слов Дмитрий вздрагивает и медленно открывает тяжелые, набрякшие веки.

— А... Это дело,— бормочет он и скрывается в спальне.

Шапкин, очнувшись от дум, недоуменно смотрит на зеленый, успокаивающий свет лампы. Он не хочет спать, ему надо говорить, но с кем? Только старуха теща сидит спиной к печи, корпя над своим извечным, никогда не кончающимся шитьем. Шапкин задумывается.

— Бабка, а ты Борьку помнишь?

— Как не помнить, мило-здорово. Нянчилась-нянчилась, ухаживала-ухаживала. Каждый день — Николе Угоднику за него молюсь, душа болит, может, не свидимся...

— Мери́на нашего,— немного передохнув, продолжает Шапкин.— Как я в ночное его гонял...

Старуха, отмахнувшись, ругается, но Шапкин уже не слушает ее. Перед ним остатки недопитого зелья, и он бубнит, продолжая разговор с ними.

— Бабка,— вновь окликает он.— А ведь в деревню к нам после войны только Петро Анфисин вернулся да Вася Фролов...

— Иван еще, председателев сын...

— Дак он уже умер...

— От ран помер через год...

— Да,— вздыхает Шапкин и вновь говорит с собой. Не выдержав бормотанья, появляется жена. Она хватает подвернувшиеся под руку бутылки и выплескивает остатки в ведро. Шапкин вздрагивает.

— Да перестань щепериться, спать заберись, что ли?

Шапкин не отвечает. Здесь его не поймут. Задумавшись, он еще долго сидит за столом, затем пробует запеть и, устыдившись чего-то, бросает педалеко от двери облезлый тулуп, пальто, устраиваясь ближе к свежему

воздуху, которого ему, пьяному, всегда не хватает, натягивает сверху старую форменную шинель и забывается.

Время далеко за полночь, и под желтым, качающимся пятном фонаря ветер снова сечет торопливым, искрящимся снегом.

Наутро встает тяжело. Вокруг никого не видно, только с кухни тянет щами, да теща, покашливая, копошится у стола. Шапкин крихтит, почесывается и заходит в кухню.

— Бабка, опохмелиться не осталось?

— Как же, осталось. Вчера навалились, оторвать нельзя. Все пять штук вылакали, меры не знаячи.— Глаза Шапкина круглеют, он в недоумении разглаживает щеку, уже пробитую сизой щетиной.

— Митька вчера сколько привез?

— Сколько-сколько... Две и привез, одну сразу на стол, а другую я прибрала, так под вечер опять выставила.

Шапкин недоверчиво крутит головой, ухмыляется, потом садится на пол, выгребает из-под стола пустые бутылки и вслух пересчитывает:

— С получки — две... С аванса не брал ничего, с Яшкой одну, да пиво... Коля — одну, но сам же и выпил, да вчера...— Он еще раз пересчитывает бутылки и решительно поднимается:

— Ох, старая, грех на тебе. Умирать скоро, а ты зятю родному врешь. В рай небось собираешься, в церкву ходишь...

— И хожу — какое вам всем дело,— старуха огрызается, злится.

— Ходить — ходи, но зачем чужое добро прятать...

— Не брала я ничего...

— Ой ли? — сомневается Шапкин.— Придется поискать...

Он медленно начинает кружить по комнате, старушка следит за ним, и на ее лице написано все, что она переживает в эту минуту. Около комода Шапкин останавливается, пристально смотрит на тещу и шутит:

— Нос у тебя, как компас, никогда не ошибается, самое точное направление дает...

Старухины глаза, еще недавно искрившиеся хитринкой, потухли. Она ругается и отворачивается, чтобы не

видеть, как зять достает из белья припрятанную с вечера поллитровку.

Шапкин идет в спальню, будит свояка. Из-под ватного одеяла высовывается всклокоченная голова с разжаревшим лицом. Свояк фыркает, начинает одеваться, но вдруг останавливается в смущении:

— Федор, а Федор, штанов что-то не найду. Мы их, случаем, не прогуляли вчера?

— Эх, касатики,— вздыхает бабка.— Держи вот, почистила я их.

Шапкин смотрит — и неудобно ему, что обидел старуху.

— Ладно, мамаша, садись-ка лучше с нами, чайку попьем, вспомняем, как в вашу деревню на посиделки бегали...

Бабка расцветает, приносит кипящий, баском пофыркивающий самовар, а сама возвращается на кухню — дела...

Зятя отогреваются крепким, ароматным пуншем, от которого теплеет на душе и нисходит умиротворение, расходятся воспоминаниями, и тянет их на простор, в поле, где прошла молодость, в деревню, в которой не были давным-давно и которую помнят с внешней, беззаботной и привольной стороны.

Шапкин откидывается на спинку стула и неожиданно предлагает:

— Пойдем, проветримся малость, а то засиделись...

Они одеваются, огибают десяток домов и выходят за город, в поле. Впереди, на взгорье, что недалеко от дороги, темнеет мысок сада, любимое место Шапкина во все времена года. Здесь на юру стояла когда-то в старину усадьба. От нее под гору убегали аллеи тополей до самого сада. Рядом с садом пруд, из которого был прорыт канальчик для спуска воды в небольшую говорливую речку, бегущую вниз. Весной вокруг пруда белым сумасшествием расцветала черемуха, а чуть позже выкидывала лиловые кисти сирень. Но так было давно. Нет больше дома, только летом по осколкам кирпича в рваных, неровных ямах можно догадаться, что был он здесь. Обмелел и заплыл пруд, с краями замстенный метелью, а прошлым годом, когда прокладывали дорогу, вырубili сирень.

Но еще цел сад — и сломанной расческой клопятся к

нему два рядка уцелевших тополей. Шапкину это место дорого, и он пробует объяснить, как хорошо здесь весной или летним вечером, перед закатом, как далеко видно, но свояк молчит, и, с укором махнув рукой, Шапкин поворачивает обратно.

— И-эх,— красоты ты не понимаешь,— тихо, надрывно говорит он и запахивается в расстегнутую, обметанную снегом шинель.— Это ведь понять и цепить надо...

— Почему, я понимаю... У самого пятнадцать яблонь дома, шестой год уже. Зацветут весной — красотища...

Шапкин не отзывается, и до дома идут молча.

В дверях подъезда чуть было не сталкиваются с полной, седой женщиной в очках. Свояк галантно кланяется, уступая дорогу, торопливо здоровается, а Шапкин отворачивается в сторону, смотрит куда-то поверх домов, и женщина, съезжившись, проскальзывает мимо.

Это Черноусова — соседка Шапкиных, которую сам он знает с войны и с которой не разговаривает все это время. А если нечаянно они вдруг встретятся, Шапкин отворачивается и ладонью зажимает враз занывшее сердце.

В сорок третьем Шапкину довелось водить эшелоны с эвакуированными ленинградцами.

На станциях в лагпунктах их немного кормили — и везли дальше — на Урал. Помнит Шапкин покорную очередь измученных голодом людей,— помнит, как умирали в мучениях ребятишки, утачившие откуда-то брюкву и съевшие ее у стены лагпункта, и как гнал он потом изо всех сил паровоз, что помощник боялся — выдержит ли котел, а Шапкин спешил и спешил, словно надеялся, что каждая сэкономленная минута сохранит жизнь какому-нибудь бедолаге.

Муж Черноусовой был уполномоченный по снабжению,— несколько раз встречал его Шапкин и около своего эшелона, но особенно не запоминал — мало ли людей встречалось.

Но в сорок шестом Черноусову вместе с мужем арестовали. Следствие протянуло ниточку к тем военным дням, когда уполномоченный привозил себе в квартиру бочонки сметаны, молоко, масло, мясо и кутил ночи напролет вместе с дружками и товарищами. Все это было на суде представлено в цифрах, рублях, килограммах, подтвердила это и сама Черноусова. На следствии она

покаялась, отеклась от мужа и на суде была лишь свидетелем.

После, как осудили бывшего мужа, пошла она работать и теперь живет в однокомнатной квартирке в одном доме с Шапкиным.

Прошли годы. Забыли люди суд, забыли уполномоченного — и живет Черноусова, как все: ходит в магазины, к соседям, судачит, смеется. Но не может забыть Шапкин, что с нею и ради нее устраивались те пьяные оргии, снятся ему умершие дети, которым не досталось по несколько глотков того самого молока, в котором купали однажды эту стерву, для которой нет у Шапкина ни снисхождения, ни пощады, — и жметесь, болит его сердце. Память человеческая не злобна — она справедлива.

Вечером свояк уезжает. Пробившись сквозь перронную толкотню, Шапкин помогает родственникам сесть и теперь стоит рядом с вагонной полкой, теребя каракулевую, под настоящего барана шапку. Динамик хрипит о пяти минутах и о провожающих, которым пора покинуть вагоны.

— Ну, бывайте. На любые выходные приезжайте, только черкни заранее, чтоб знать.

— Спасибо, парень, спасибо. Давненько так не отдыхалось. Особо за пироги спасибо передай, двадцать лет таких не пробовал. Время выберу, приеду — чего тут: четыре часа езды. Ты сам, сам давай.

— Соберусь, может. Опять же, в деревню хочется... Летом уж. — Шапкин прощается еще раз, выходит на перрон и взмахивает ушанкой вслед тронувшемуся поезду. Вслед за составом тянутся к воротам провожающие, и перрон пустеет. Пустеют и прилавки павильончиков. Шапкин пожевывает губами, роется в карманах: не завалилось ли там, случаем, хоть на бутылку пива, и неожиданно вспоминает, что ему сегодня стукнуло пятьдесят три. Пятьдесят три, а могло ведь и пятьдесят пять; если бы после войны, когда меняли документы, сам не убавил два года, прибавленных еще в детстве, в справке, выданной сельсоветом, чтобы легче устроиться на работу в городе. А в пятьдесят пять можно и на пенсию, ведь стаж машиниста у него хоть и с перерывами, но большой, целых двадцать лет «горячего» — с морозом, слякостью, сверхурочными и ночными сменами...

Завтра бы можно не идти на работу, а вдоволь выспаться да после поработать для души, построгать что для дачи, раму или табуретку какую. Дачи у Шапкина пока нет, но перед пенсией он обязательно возьмет участок, построит домик и вернется к земле, которую покинул еще пацаном, но к которой тянется думами, видит по почам и по которой зудят руки. Теперь скоро.

Он нерешительно улыбается, крутит головой. В кармане пусто, но Шапкину ничего не надо. Один за другим гаснут огни в домах. Люди ложатся спать... Пора и ему. Шапкин поворачивается и поспешает домой. По дороге, у входа в магазин, маячит нескладная фигура Тишкина. Шапкин приостанавливается в раздумье, потом машет рукой и обходит друга стороной.

Завтра в дневную...

НИ РАЗЛЮБИТЬ, НИ ПОЗАБЫТЬ

Колюче ткнулись в глаза солнечные лучи, и почти одновременно где-то неподалеку закачался петушиный крик.

Анохин слегка потянулся, ощущая в теле ту томную, приятную сытость, какая бывает, если после хлопотных, суетных дней вдруг выпадет долгий отдых.

Прошлепав босиком к окну, Анохин задернул шторы, потом с удовольствием, напрягаясь всем телом, погнулся — в стороны, назад, несколько раз присел и пошел умываться. В гостинице еще спали, только у шкафа с бельем копошилась старушка — вахтерша.

— Анна Михайловна, — вспомнил Анохин и поздоровался.

— Доброе утро, доброе утро, — раскланялась старушка и посочувствовала: — Опять, поди, ехать собрались — такую рань пробудились...

Анохин плеснул в лицо пригоршни холодной, отдающей железом воды.

— Да нет, выспался просто. — Он крякнул: — Эх, хорошо!..

— Давненько вас что-то не видать, забыли про нас, — попеняла слегка старушка.

— Дела, Анна Михайловна, дела не позволяют. Все больше мимо приходится проезжать...

— Ну да, служба, — поняла Анна Михайловна и спросила: — Чайку не выпьете? Свеженький — только-только самовар выставила, мало ли, думаю, позавтракать кто захочет. Воскресенье ведь, столовые поздно откроют.

— Чайку выпью, — добродушно забасил Анохин, разгоняя полотенцем тепло по телу. — Оденусь только.

— Прямо ко мне заходите, — пригласила Анна Михайловна, поправляя на плечах старинную цветастую шаль, какие сохранились сейчас у немногих старушек и которые сберегаются ими любовно и старательно, как последняя память о когда-то бывшей молодости.

Анна Михайловна была и директором, и горничной, и завхозом, и вахтером в этой небольшой — на шесть ком-

нат всего — гостинице, и сама жила тут же — в боковой пристроечке. Всякий, кому хоть раз довелось ночевать здесь, знал, что как поздно не занесут его сюда в следующий раз дела, стоит лишь коротко звякнуть колокольцем у входа, и минуты через две, кутаясь в свою неизменную шаль, появится Анна Михайловна. Охнет — не иззяб ли гость, угостит чаем, унесет сушиться промокшую обувь, приготовит постель. Нет места в номерах — всегда отыщется раскладушка. Сухо, тепло, чисто — что еще желать? Кому приходилось бывать в командировках по бездорожью и распутице, тот знает цену этому неприхотливому уюту.

Анохин достал из портфеля пакет, собранный в дорогу женой, и стукнулся к Анне Михайловне. Комната ее — небольшая, с двумя оконцами по передней стене, вмещала стол с тремя гнутыми, «венскими» стульями, диван, кровать и желтый, щедро раскрашенный под дуб шифоньер. По стенкам — рамки с почетными грамотами, фотографиями, открытками — все древнее, пожелтевшее.

— Присаживайтесь, — пригласила Анна Михайловна и согнала с табуретки рыжего, толстого кота. Анохин сел, выложил из мешочка конфеты, печенье, колбасу.

— Угощайтесь, Анна Михайловна, перекусим, как говорится, чем бог послал.

— Спасибо, — улыбнулась старушка. Она сняла с самоварной трубы фарфоровый чайник. — Я сейчас как воробышек — несколько крошек клюну и сыта. Надолго к нам?

— Да как сказать? — Анохин прихлебнул из стакана и языком растер чай по небу, проверяя, хороша ли заварка. Привкус был терпким, не горчил — в самый раз. — На недельку, наверное, съезжу — колхоза в три, посмотрю, как дела с надоями. Весной-то ваш район по молоку сильно минусовал, выправляться бы надо...

— Ой, не вспоминайте. О прошлый год такая сушь стояла — не траву, а сено косили. Я уж вся испереживалась — экая напасть, как в пустыне. Грешным делом, подумала — не от спутников ли, больно много их запускали...

— Нет, конечно, — усмехнулся Анохин. — Просто погода такая — третий раз в этом столетии случается...

— А в этом году как — слышно что у вас в области? — любопытствовала старушка.

— Обещают осадков около нормы, — уклончиво ответил Анохин.

Заводить серьезный разговор о мучившей проблеме не хотелось. Ну о чем серьезном можно говорить со старухой, которая в своей непосредственности наивна как ребенок. Сейчас какого-нибудь илью-пророка своего приплетет, и чтобы переменить разговор, он кивнул на висевший в простенке портрет солдата с довоенными петлицами.

— Ваш муж?

Анна Михайловна замялась, точно подбирала нужные слова.

— Не совсем. Росли вместе, на посиделки вместе ходили. Ровесники мы — с девятого году. Миша это. Пожениться уже хотели, да беда вышла.

— Что так? — спросил Анохин.

Она посмотрела на гостя — интересно ли тому слушать? — пожала плечами:

— Между тятками нашими нехорошо вышло. Как раз накануне колхоза дело было, в тридцать первом году. Или тридцать втором — запомтовала что-то. Но только мы селом считались, а райцентром не были еще. Иван Потапов — отец-то Мишин, железо из Архангельска привез — свояк ему для дома достал. На хлеб, картошку там выменял. А на ту пору как раз уполномоченный в село — кулаков, мол, выселять. Тятка мой выпивши был, возьми да в шутку меж мужиками и ляпни: самый, мол, заглавный мироед у нас — Иван Потапов, у него и двор под железо. Услышали — прицепились. Смехом сказал, а вышло нехорошо. Злобство у нас тогда было — очень уж уполномоченный дотошный был. Туго пришлось Ивану Михайлычу — выселили уже, да ладно догадался, Калинин у написал. Воротился — дом-то вернули, а имущество все порастащили. Так наши дорожки и разошлись — не простил Иван Михайлович отца, хотя тот на миру перед ним покался. И Мишу когда женили — из соседнего села взяли, тоже Анной звали. Ходила я тогда — свету белого не видела. Люб был — да в чужом саду ягода. Встретимся случайно — я глаза в землю, а рук-ног не чую. Приду домой, заплачусь в подушку — так и жила.

Когда война началась — я на станции была, крупу для магазина приехала получать. Всплакнули с бабами, пожалели — много лиха кому-то выпадет... А на следующий

день мобилизованных отправляли — и Мишу с ними. Увидел он меня, выскочил из теплушки и говорит:

— Ты зла на меня, Анна, не держи — не наша, видно, воля... Моим только, если тяжело придется, подсобить не откажись... Он говорит — а в голове туман, словно откуда-то с неба смотрю. Эшелон тронулся — тогда до меня и дошло, что война. Раньше его хоть изредка видела — знала, что рядом, и все тут. А теперь, может, и не видеть больше.

Анна Михайловна сухонькой жилистой рукой отвернула узорчатый кран, добавляя в чайник кипятку. Самовар остывал, и в тишине ритмично щелкали ходики: кошка, нарисованная наверху, размеренно двигала круглыми глазами из стороны в сторону.

— Сын у него остался — Юра, да жена. Поздненький сыночек-то у них был, болела Анна. Внутрях что-то неладно у нее, вроде, сказывали, камни в печени. Трудно жили — что скрывать. Аня на деревянном заводе работала, а я в сельпо. Дня от ночи не отличали — всегда дело находилось, а питание, хоть и сельская местность считалась, неважное было. Аня пожелтела вся, высохла. Подкормить бы ее — да чем? Иногда картошки прикупишь — поделишься, иногда молочком, когда достанешь, только она все Юре отдавала. Слабенький тоже был. В сорок третьем, двадцатого августа, померла она — прямо на работе. Юре седьмой годик шел. Схоронила я ее, Юру себе взяла. Ах, — вздохнула Анна Михайловна, мелко закрестилась, словно щепотью бросала на себя какую-то крупу. — Грех на меня большой лег в то время. Частенько думала про себя, что Миша ко мне вернется. Вздрогну — что это я, вслух говорю себя, что нехорошо, а внутри все равно верю. Как подумаю, так, бывало, словно крылья отрастают: мешки пятипудовые таскала, пыхала, лес рубила — откуда сила бралась? Радио каждый день ходила к исполкому слушать — скоро ли про победу говорить начнут? Ночи не спала, словно в двадцать годков. Подумаю, как он вернется — и реву от счастья. После смерти Анны я ему все отписала, как было и что Юрик у меня. Ответа долго не было — после Октябрьских уже весточку получили. После еще два письма были... Вот. — Она выдвинула ящик из тумбочки, достала из целлофанового пакета три ветхих, истертых листочка, на которых почти ничего уже нельзя было разобрать. — А на другой год, тоже аккурат перед

Октябрьскими извещением пришло, что пал смертью храбрых. Под Каземижем погиб — местечко такое в Польше. Хотела я как-то съездить — да так и не осмелилась. Никто ведь я ему, да и не знаю, как выбираться. Там хоть вроде и наша, а все равно чужая страна. Может, разузнаете, как туда съездить? — обратилась она к Анохину. — Съездила бы, хоть на могилку поглядела перед смертью...

Анохин, задумавшись, согласно кивнул головой.

Остыл чай в стаканах, и только кошка в часах-ходиках по-прежнему зыркала глазами из стороны в сторону. Торопливо пробило восемь. Анохин посмотрел на часы на руке, поправил: половина девятого уже. Анна Михайловна встала на стул и перевела стрелку. Пожаловалась:

— Своенравные больно. То вперед бегут, то отстают. Сменить бы надо, да жалко — память.

Она заулыбалась и, поколебавшись немного, решилась. Достала из тумбочки расписную палехскую шкатулку, протянула ее Анохину.

— Вот — подарок позавчера получила от Юрика с семьей. На день рождения. Баская очень, верно? Коробочку эту прислали и кофту еще. Перепутали они немного — день-то рождения у меня в начале месяца был, да это почта, верно, долго идет. В Хабаровске живут, офицер он...

— Часто пишет? — спросил Анохин.

— А как же? — подивилась Анна Михайловна. — Один и свет-то у меня в окне. Он да внучаток еще двое. К себе все зовут, — наверное, на будущий год соберусь да посду...

— Да, вместе, пожалуй, лучше, — согласился Анохин. — Спасибо, извините — дела.

— Вы меня извините, — заболталась, старая. Это сегодня просто к слову пришлось — день рождения ведь Мишин. Он ровно на три педельки моложе был...

— Да, да, — посочувствовал Анохин. Он еще раз поблагодарил за угощение и пошел к себе. Присел за стол, задумался. Накануне он планировал, что с утра набросает вчерне статью о перспективах сельского строительства, заказанную областной газетой, — ради этого он и приехал в Заозерск заранее, на выходной, чтобы спокойно, в тишине все обдумать. Но работа не шла на ум.

В свои тридцать пять лет Анохин уже успел кое-чего достичь в жизни. Отслужил армию, закончил институт, работал агрономом в колхозе, председателем сельсовета,

председателем райисполкома, поступил в аспирантуру, закончил ее, защитил кандидатскую и теперь заведовал отделом в облисполкоме. Все эти годы перед ним стояла какая-то цель — определенная и понятная, и чтобы достичь ее, приходилось спешить — учиться, работать, жить. Постоянная нехватка времени сделала его педантом: ранний подъем, зарядка, распланированный до минут день. В редкие выходные бывал он в кино, в театре, любил читать, но и здесь с расчетом. Интересовался он только теми вещами, которые прошли проверку временем.

Читал больше произведения с документальной основой и исторические романы. Про любовь читать не любил, язвил — «чуйства» все это! И похоже было, что не было в его жизни ни ночных страданий, ни дежурств, ни весенних лихорадок, ни поцелуев... Да нет, наверное, все-таки были, просто забылись.

Анохин взял книгу — не читалось. Тогда задумался, пытаюсь разобраться в себе — что случилось? Неужели так подействовал этот простенький рассказ? Сколько он слышал такого на своем веку!.. Вроде и припорошило временем наготу трагедии, зарубцевались у людей раны на душе и теле, новые поколения пришли на поле жизни — с новыми заботами и огорчениями, радостями и тревогами — все проходит... Да, проходит все, только не все забывается. И незабываемость эта жила где-то в глубине души большой человеческой жалостью к тем многим и многим, чей покой и счастье так грубо покорежила война.

Анохин поднялся и вышел — на улицу, на свежий воздух. Городок жил своей будничной жизнью. Торопились по своим делам люди, лихо пропылил мимо переполненный автобус — в раскрытые окна было видно, как там тесно и жарко. Дремавший у ворот пес с лаем бросился следом — не догнал и вернулся, виновато повиливая хвостом. Улица оборвалась набережной. Чуть рябоватая гладь реки переливалась яркими малиновыми отблесками. На плотках гулко хлопали бельем по воде бабы, а чуть выше замерли в безмерном терпении рыбаки.

Анохин присел на скамейку. Солнце уже поднялось высоко. Неподалеку играло радио, и музыка струилась куда-то вдаль — через реку, поверх светло-зеленого, в коричневых полосках стволов бора, над бочажками лугов к горизонту. Уже косили на силос. Уверенно ползли по полям трактора и косилки, рядом с ними крохотными

точками чернели люди. Шли первые дни страды. И Анохин подумал, что все это — поля, луга, река, лес — это та самая родина, на которой рождались, жили и умирали многие поколения предков его. Сотни лет назад пришли первые подвижники в этот богатый лесной край. Корчевали лес, пахали землю, строились, сеяли хлеб, растили детей и тихо умирали, завещая наследникам своим эту землю. И в такие же тихие летние дни вдруг обрывались все полевые работы — под плач жен и невест собирались заозерцы в дорогу: с собой смена белья, немного харчишек да вера в святость и справедливость того, что предстояло совершить. Поднимались и шли на поле Куликово, под Нарву, к Москве и Смоленску, в страны Европы — нет битв, в которых не участвовали бы люди всех уголков России, потому что нет русскому человеку покоя и счастья, если рядом неволя и злоба...

Они уходили, оставляя на подруг своих землю — трудную, тяжелую, долгую — от зари до зари — работу, которую нельзя было не делать, и с ней печаль и надежду ожидания...

Что-то щелкнуло, захрипело в репродукторе, и звонкий девичий голосок задорно проговорил, округляя гласные:

— Вниманье! Вниманье! Говорит радиоузел города Заозерска. Сегодняшняя наша программа по заявкам посвящена тем, кто родился в июне.

После маленькой паузы заговорили медленнее, спокойнее:

— Тридцать восемь лет проработал в колхозе «Рассвет» Акиндин Иванович Воробьев. Он участник Великой Отечественной войны. За храбрость в боях и успехи на трудовом фронте награжден двумя орденами и пятью медалями. Позавчера ему исполнилось шестьдесят. По просьбе детей и внуков передаем для Акиндина Ивановича его любимую песню...

Запели «Землянку». Анохин прислушался и незаметно для себя стал подпевать. Песня ложилась на душу, и душа жила в песне. Подумалось, что где-то сидит за столом сейчас неведомый Акиндин Иванович с внуками, смущенно улыбается, слушает и тоже тихонечко подпевает...

Анохин вспомнил и торопливо поднялся. Радиоузел — он помнил — размещался в деревянном особнячке с покосившимся мезонином. Анохин взбежал по скрипучим

ступенькам, решительно толкнулся в двери со строгой, от руки надписью «Посторонним не заходить». За низенькой перегородкой среди разных железяк и мигающей аппаратуры сидела девушка. Она сделала строгие глаза, погрозила Анохину, потом щелкнула переключателем:

— Не видите, что-ли, что на дверях написано...

— Очень важное дело, девушка,— зашептал Анохин.— Помочь надо — очень срочное дело...

— Какое? — полюбопытствовала девушка.— Да вы погромче можете говорить, сейчас с магнитофона запись идет...

— Пластинку бы с песней для одного хорошего человека... День рождения недавно был, а близких в этом городе никого нет...

— Написали бы заявку раньше — передали бы, а сейчас поздно — у меня всего двадцать минут,— объяснила девушка и приложилась к наушникам.

— Эх, сегодня бы,— вздохнул Анохин.

— Невесте, что ли?

— Старушке тут одной...

Девушка шикнула, приложила палец к губам и взяла микрофон.

— Для Петра Федоровича Жаравина Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии исполнит...— она поперхнулась и чуть замялась.— Исполнит «Солдатский вальс».— Девушка снова щелкнула переключателем и повернулась к Анохину.

— В принципе, конечно, можно,— сказала она,— только записи сейчас некогда искать. Вон в углу пластинки, выбирайте, если хотите, а то давайте объявим какую-нибудь из следующих — вот список.— Она протянула Анохину листочек бумаги и снова приложилась к наушникам. Анохин прочитал, подумал — и обрадовался.

— Вот — как раз, последняя запись, где Зыкина пост...

— Передадим... Только на бумажке напишите — для кого. Кем работает, фамилию и имя.

Фамилии Анохин не знал.

— Можно просто по имени-отчеству? — спросил он.

Девушка пожала плечами:

— Смотрите сами...

Анохин быстро набросал на листочке несколько слов и подал девушке. Она взяла листок, кивнула головой: сделаем.

Анохин вышел на улицу, вернулся к старой скамейке. Знакомый уже голос объявил только что написанные строчки, и исподволь, плавно поплыла песня — печальная, добрая и прекрасная.

Зачем меня окликнул ты
В толпе бесчисленной людской?
Зачем цвели обман-цветы,
Зачем закат горел такой?

Светлая печаль стелилась над землею, ее знобящими, бесконечными просторами — было в этом негромком пении чувство какой-то всеобъемлющей привязанности — и не только к тому одному, самому заветному и близкому человеку, но вместе с ним и неотрывно от него — к этим полям, реке, лесу, этим людям, всему тому, что объединено одним коротким, звучным словом — родина.

Ни разлюбить, ни позабыть,
Ни заменить тебя нельзя...

Песня кончилась, улетела куда-то далеко-далеко, в бесконечность, а в душе дышала и жила любовь. И была мысль, что иногда, устав от дерганья, беготни, всевозможных суетных дел, надо немного просто постоять, осмотреться по сторонам, задуматься...

ДОЛГАЯ ДУША

Утром Вегин уезжал из Спешнева. Маленький автобус-коробочка шустро проскочил село и запрыгал по колдобинам проселка. Редкий дождь шелестел по окнам, оставляя косые, прерывистые полосы, и под монотонный шум мотора клонило в сон, как всегда бывает в дальних поездках. Откинувшись поудобнее, Вегин дремал — так быстрее шло время. Откуда-то снизу тянуло сквозняком, и Вегин боялся простыть.

Был он не очень молод — без году тридцать. Когда-то давно, еще в юности, мечтал он петь и даже учился в консерватории, но певцом не стал, а стал администратором — директором районного Дома культуры. О своей прошлой мечте вспоминал редко, лишь когда на экране телевизора встречалось знакомое лицо кого-нибудь из бывших однокашников. Тогда Вегин хмурился и неодобрительно ворчал: «Тоже мне, мода: чем меньше голоса, тем популярней», — а сам втайне завидовал их артистической судьбе и думал, что, не застуди он горло, и у него была бы совсем иная, полная и цельная жизнь.

Своей теперешней работой Вегин не был доволен. Работой были звонки по телефону, отчеты, справки, ремонт крыши и полов, поиск стройматериалов, кружки, концерты, вечера — ежедневная, не имеющая конца суэта, и когда она надоедала, Вегин уезжал куда-нибудь поглубже в район, где рыбачил или охотился и попутно проверял какой-нибудь колхозный клуб.

Уже прошло время опьянения молодостью, когда отовсюду бил энтузиазм, а впереди розовело приятное будущее. После болезни, когда совсем пропал голос, Вегин уехал на Север, в самую глухомань, с твердой надеждой, что еще вернется в искусство. Верилось, что найдет он на Севере множество талантливых людей и возродит с ними ту извечную потребность в раздольной и широкой народной песне, какую чувствует в своей душе каждый русский и которая с каждым годом слышится все реже и реже не только в городах, но и в самых отдаленных, самых певучих прежде селах. Грезился созданный хор, успех

гастролей, записи на радио — многое о чем мечтается, когда берешься за какое-нибудь крупное дело...

А на деле был клуб, старенький, деревянный, с дымящими печами и подмокшим потолком, была самодеятельность из двадцати парней и девушек, которые заучивали с грампластинок эстрадные новинки и выступали с ними в конце каких-нибудь торжественных мероприятий. Три раза в неделю было кино, а по выходным — танцы под радиолу. Все это стало работой Вегина. Создал хор — и учил его петь, учил заново, долго, терпеливо приучая к чтению нот, занимался с танцорами — и сам подыгрывал им на баяне, писал стихи, ездил с концертами по полям во время уборочной и посевной — делал все торопливо, сразу, делал один, и, кроме него, делать это было некому.

Постепенно померкла и исчезла мечта о большой сцене. На душе стало неуютно. Страшила Вегина мысль, что все лучшие годы так и останутся в этом маленьком, сонном и чужом городке, почти в трехстах километрах от железной дороги.

Об этом снова задумался он, возвращаясь на автобусе из Спешнева, и на душе делалось тоскливее и тоскливее. Хотелось все бросить, уехать и пачать жизнь заново, но только куда уехать, с чего начать...

А за окном в рассвете тусклого дня терпеливо мокли опустевшие, колючие поля, за которыми красовались расцвеченные буйным увяданием перелески да время от времени вытягивались вдоль дороги вереницы темных деревенских домиков. Одни — живые, теплые, тихо клубили дымки над отдыхающей землею, другие — безмолвные, с окнами, наглухо заколоченными аккуратными серыми щитами, словно надеялись, что в них еще вернутся, и покорно ждали, когда снова доведется взглянуть на мир ясными, промытыми стеклами.

Где теперь их хозяева? В вечно спешащем Ленинграде, рыбном Мурманске или на «Северной Магнитке» — в Череповце? Бог весть... Легким кажется человеку хлеб на стороне...

Снова потянулся лес, но уже сосновый, светлый, словно выгоревший под летним солнцем. Середина была вырублена, и только в центре делянки одиноко ежилась от ветра голенастая сосенка.

«Простоит еще немного, посылет семенами вокруг,

да и свалится. Сил не хватит удержаться, — думал Вегин. — Вот и мне не хватило».

Он снова задремал и проснулся от резкого, непонятного шума. Автобус стоял посреди села, рядом с новенькой, приземистой столовой, и все выходили из автобуса перекусить. Вышел и Вегин. На тетрадном листочке висело скудное меню — Вегин взял неизменную треску, которой кормят в столовой даже на берегу озера.

За столиком напротив трое подвыпивших мужиков пробовали запеть про глухую, неведомую тайгу, но слишком налегали на голос, не слушая друг друга.

«Вот оно, хоровое искусство, — горько усмехнулся про себя Вегин. — Крик один. Слов даже толком не знают...»

— Эва, да нешто так поют? — слышался чей-то голос.

— Ладно, — отозвались за столиком. — Спой лучше, коли можешь.

— Спую, — охотно согласился подошедший мужичок в линялой, старенькой фуфайке. Он гмыкнул, потом затянул медленно, исподволь, протяжно, голос его креп — и полной грудью он выдохнул:

Бежал бродяга с Сахалина,
Бежал он с каторги домой.

Но вернулась отлучавшаяся буфетчица, заругалась, выгнала певца:

— Иди, иди, на улице проорешься.

Тот скомкал шапку и пошел, обиженный, что-то бормоча под нос. Вегин поднялся за ним. Певец стоял у телеги и отвязывал вожжи.

— А ты хорошо поешь, — похвалил Вегин. — Голос у тебя есть.

— Есть, парень, — согласился возчик. — Спортила только баба-дура настроение. Я ведь так пою, балуюсь...

— Спой что-нибудь, если можешь.

— Почему не мочь? Любимую свою, если пожелаете. — Он посмотрел на Вегина и добавил: — Печаль только надо.

Возчик потупился, подошел к забору, где лежала кудлатая, куцехвостая собака, и, присев на корточки, о чем-то тихо заговорил с нею, потом поднялся, несколько раз вздохнул — глубоко, редко, словно пробуя грудь, и начал:

Эх, ты, почепька,
Ночка темная.
Ночка темная
Да осенняя...

Остановились потянувшиеся к автобусу люди. Стало тихо, и только лошадь изредка вспрядывала ушами, косясь на людей выпуклыми, настороженными глазами, а хозяин ее пел, озабоченно глядя себе под ноги, и когда брал долгую высокую ноту, как бы старался приподнять себя, опереться о землю.

Пел он неправильно, не так, как привык слышать эту песню Вегин, но удивительно приятно и связно. Хотелось безмолвно плакать. Кончив, он шумно вздохнул, расстегнул еще дальше ворот рубахи:

— Эх, хорошо-то как...

Он подошел к лошади, протянул на ладони кусочек хлеба. Та бережно взяла губами и довольно качнула головой. Возница поправил упряжь, повернулся к Вегину.

— Это что, баба у меня — вот мастерица! Сколько в молодости вместе попели. Приезжайте-ка к нам в Крюково — не хуже любой самодеятельности постараемся. Пеговых спросите, все укажут. Три сына еще рядом живут — бывает, соберутся, что я старый, и то заслушиваюсь... Приезжайте, приверните как-нибудь.

— Спасибо, — ответил Вегин. — Не по пути сейчас.

— Милости просим, милости просим...

Возница попрощался, сел на телегу — и грязь потекла в узкий, глубокий след. С шутками рассаживались пообедавшие пассажиры, некоторые дальше не ехали, и стало просторнее. Вегин пересел вперед и сокрушенно тер лоб.

«Черт возьми, бывают же таланты от бога! С таким голосом, да подучиться — горы ворочать можно. А тут — «балуюсь»... И не нужно ему казенной премудрости — где какой высоты взять ноту, чтобы поразить знатоков. Поет, как сам переживает, — и вся душа нараспашку...».

Вегин распрямил плечи, задышал глубоко, часто, словно собирался с силами, и подумал, что тридцать лет — это лишь начало жизни, в которой все впереди.

А вдоль дороги безмолвствовали тихие избы. Над некоторыми курились сизоватые дымки...

Иван Ильич, выйдя на пенсию, затосковал. Собственно, был июль, привычное отпускное время, которого всегда так не хватало, чтобы отдохнуть от собраний, конференций, поездок в колхоз, дежурств — всего того, без чего сейчас невозможно представить труд учителя. Теперь заботы пропали — впереди ждал долгий отдых, до самой смерти отдых, и он был непривычен. Первое время Иван Ильич отдыхал, как мог. Ходили с женой в кино, театр, побывали на выставке служебных собак и ездили автобусом за город, на природу. Городок, хоть и областной, был невелик и на развлечения беден. От нечего делать Иван Ильич заново выкрасил квартиру, а после снова заскучал. Скучал он по делу, за которое нужно браться обязательно, и каждый день, так же, как раньше надо было ходить на работу. Скучал он еще и потому, что пустовала их двухкомнатная квартира. Прежде эту пустоту скрадывали дети, которые выросли, разъехались и увезли с собой почти все хлопоты. Детей у Ивана Ильича было трое, и первое, что он собирался сделать, выйдя на пенсию, это навестить всех, погостить у каждого по недельке.

Но поехала одна жена, и после ее отъезда Ивану Ильичу делать было абсолютно нечего.

Однажды сосед Ивана Ильича, тоже пенсионер, но со стажем, пригласил его в суд, послушать. Иван Ильич согласился, а когда побывал, заинтересовался и время от времени стал наведываться в низкорослое кирпичное здание неподалеку от центральной площади.

Внутри дом прямо от дверей делился пополам. Наверх вела широкая лестница, покрытая вытертой дорожкой, а под лестницей был ход в длинный, высокий коридор, по обеим сторонам которого располагались залы судебных заседаний. Первым делом Иван Ильич проходил по коридору и прочитывал вывешенные на стенах списки дел, назначенных к слушанию. Он быстро научился разбираться, что скрывается за номером той или иной статьи, и выбирал дела уголовные, поинтереснее. Были в этом интересе и простое человеческое любопытство, и интерес

профессиональный, особенно если перед судом стояли подростки, почти такие же, каких он всю жизнь был призван учить доброте и человечности. И чем больше слушал Иван Ильич таких дел, тем откровеннее признавался себе, что никогда не понимал этих молодых, задиристых ребят, их жизни, их представлений о чести, морали. Он и они по-разному смотрели на жизнь, которая уже обкатала его, но еще не успела обтереть их. Дела большей частью были несложные: чаще всего — хулиганство, непременно в пьяном виде, реже — драки. Подсудимые почти всегда каялись в содеянном, иногда чистосердечно, иногда просто ввали, что раскаиваются, на самом же деле жалели, что попались по глупости. Многие из них были в чем-то похожи на недавних учеников Ивана Ильича, и частенько вечерами задумывался он об их судьбе, размышляя, где же грань, на которой следовало остановить этих еще очень молодых, может быть, даже неплохих парней? Много вопросов возникало у Ивана Ильича, и в суде он хотел найти ответы на них.

На сегодня списков не было. Иван Ильич, придав лицу озабоченно-деловое выражение, подошел к первой двери. Протиснувшись бочком в зал, он замялся у порога, выбирая, где бы сесть. Публика оглянулась на скрип, и Иван Ильич неловко протиснулся на свободный стул у стены. Судья — миловидная женщина с черными, немного косящими к переносице глазами, тоже взглянула на Ивана Ильича. Он уже знал всех судей, и они, надо полагать, запомнили его — остроносого, сухощавого, в очках с широкой оправой. Залы заседаний были невелики, и каждый человек здесь был на виду. Эта женщина правилась Ивану Ильичу: она всегда вела дела спокойно, даже добродушно, не нервничала и не творила допрос, а просто разговаривала с подсудимым.

Почесав переносицу, судья повернулась к барьеру, и тотчас на нее уставилась крупная, стриженная голова с залысынами над шишковатым лбом.

— Ну что, давай, говори свое последнее слово.

— А что сказать, — поднялся бритоголовый.

— Что думаешь, не первый раз...

Подсудимый качнулся.

— Я, граждане судьи, с четырнадцати лет пошел на завод. Сначала, значит, учеником. Нас в семье шестеро было...

Судья махнула рукой.

— Ты ближе к делу, биографию не падо, мы знаем...

— Так я для всех, чтобы, значит, всю жизнь поняли. А по существу что: виноват. Не помню ничего, наверно, так и было, как сказали. В гостях выпили. До этого в рот не брал, пельзя, голова плохая, а тут уважил друзей, по-пробовал. На улице поспорили с женой. Она ушла, а я под куст лег, не пойду, думаю, дальше. Больше не помню — может, и стукнул гражданочку, как она говорит, не помню...

В зале сидели тихо, только соседка Ивана Ильича все пришептывала, порываясь что-то сказать.

— Попрошу только: не наказывать строго. Два года как освободился, и опять по-дурному. Водка все, будь она проклята. Пока держишься, ничего, а попадет немного, она за собой тащит...

— Мелу знать надо,— заметила судья.

— Э,— махнул рукой подсудимый,— это только советовать легко. Где вино, там меры не бывает.

— Да-да,— в лад своим внутренним мыслям согласился Иван Ильич. Еще Павлов говорил, что сто граммов водки делают человека шизофреником. Болезнь, бред, человек перерождается. Каждый знает, что, выпив, он уже иной человек, совсем иной, и не будь вина, суды пустовали бы, дети не пугались бы пьяного отца, почти исчезли бы семейные скандалы. Каждый вырученный на водке рубль вымочен в слезах и горе, чтобы ни говорили в ее защиту. Самое легкое — это выпить: в любом магазине, на любой вкус, по любой цене, каждому. И на словах никому никогда не докажешь, что ему не надо пить,— каждый отвечает за себя...

Суд удалился на совещание, подсудимого вывели. Публика потянулась в коридор, пожилая женщина громко заговорила:

— Пожалела я его, не сказала, что и ногой раз пхнул, дьявол. Ни за что ни про что, мимо шла, помочь хотела... А сказала бы, больше дали... Сейчас строго: не фулигань, не тронь честных людей...

Было жарко. Не дослушав, Иван Ильич вышел на улицу. Хотелось пить. Вспомнил, что за углом ларек «Пиво — воды». Шустро перебежал дорогу к голубому, обтрепанному павильону, но там торговали овощами. Обругав

про себя вывеску, Иван Ильич прошелся в центр и когда вернулся, подсудимого уже привели.

— Встать, суд идет.

Зашуршала одежда, заскрипели отодвигаемые стулья.

— ...и определить ему наказание в виде одного года лишения свободы, направив его для отбывания наказания в исправительно-трудовую колонию усиленного режима...

Дочитав приговор, судья добродушно проговорила:

— Год тебе. Если недоволен, семь суток на обжалование.

Осужденный торопливо замотал головой.

— Спасибо, не буду, спасибо... Там, чтоб премию жене выдали...

— Доверенность напишешь, передашь и выдадут.

— Спасибо, спасибо...

Судья собрала бумаги и вместе с заседателями ушла в соседнюю комнату, сегодня у них было еще одно дело.

Публика расходилась, и женщина в вытертом пальто снова забубнила:

— Нонче живо укротят, не дадут руки распускать...

В конце коридора толпились люди. «Свидетели», — подумал Иван Ильич и поспешил к ним. Один из стоящих, услышав приближающиеся шаги, отскочил от двери. Иван Ильич протиснулся в зал. Здесь людей было больше, и пришлось стоять у порога. В зале было душно, все сидящие обмахивали красные, распаренные духотой лица, и даже милиционер у барьера ослабил галстук. Кто сидел за барьером, видно не было. Суду отвечал белобрысый подросток в тенниске.

— Значит, Чулков бил Подосенова?

— Там все друг друга лупили...

— Вас спрашивают: Чулков бил Подосенова?

— Они первые начали хлестаться, а после мы подоспели...

На улице затарахтела машина, и распахнутое окно задребезжало, последние слова пропали.

— Повтори, я не расслышал.

— Бил, — буркнул подросток. — Они сначала начали вдвоем... — Судья кивнул головой.

— Вопросы есть?

Полная женщина — прокурор — подняла кверху карандаш, и на петлицах блеснули три тусклые звездочки.

— Что тебе сказали в наблюдательной комиссии?

— Тридцать рублей штрафу родителям...

— Понял теперь, как себя вести надо?

— Понял...

Судья пролистал дело, покачал головой.

— Смотри, хулиган какой. Еще раз повторится, придется тебе сесть, где дружок сейчас сидит. Хватит тебя воспитывать, через полгода восемнадцать будет. Родителей-то хоть уважаешь? — Парень хлюпнул носом:

— Уважаю...

— Смотри, чтобы нам с тобой больше не встречаться. Садись. Судья повернул голову к барьеру:

— Чулков.

Иван Ильич вздрогнул. За барьером поднял опущенную голову и встал Сережа Чулков, его ученик и староста класса, в котором Иван Ильич полтора года назад был классным руководителем. За тридцать учительских лет через руки и память Ивана Ильича прошло несколько тысяч учеников, но удивительное дело: многих из них, даже самых давних выпусков, он помнил до сих пор. Иногда забывалось имя, но лицо помнилось, и с лицом оживал какой-нибудь эпизод. Никогда не верил Иван Ильич, что его не узнали, если бывший ученик проходил мимо не поздоровавшись. Это случалось не так редко, и годы выработали привычку при встречах с бывшими учениками принимать озабоченный, торопящийся вид, и лишь разойдясь, он распрямлялся и шел дальше. Когда же с ним здоровались, он вздрагивал, останавливался и с радостной готовностью вступал в разговор, расспрашивал, вспоминал и, расставшись, долго еще улыбался встрече. Он помнил почти всех: у большинства к концу школы были сложившиеся характеры, и при встречах они почти всегда оставались теми же, какими были в школе.

Сергея Иван Ильич учил полторы зимы. Был тот смекалист, озорноват, и вошло в школе в привычку, что в любой проделке виноват Чулков. Сергей никогда не отрицался, не было случая, чтобы он свалил вину на другого.

Дело было несложное: Сергей с друзьями, одного из которых только что допросили, пошли на танцы в чужой район, где встретились с такими же молодыми, незнакомыми парнями и задрались, просто так, из-за непонятного зуда молодости. Говорилось, что драку начал Сергей и что именно после его удара один из противников упал на камень и проломил голову.

— Подсудимый, вы признаете себя виновным?

— Да, драку начал я. Подосенов подошел, выхватил изо рта у меня папироску, я, конечно, не сдержался, ударил его...

— Но никто из свидетелей не видел, что вас Подосенов задел первый...

— Они далеко были...

— А на камень Подосенова вы сбили?

— Это уже в конце было. В горячке не заметили, а когда увидели, что он на земле, сразу перестали...

— Но вот ваши показания следствию: что дрались вы в основном именно с Подосеновым...

— Я и не отрицаю... А с ног мог кто-нибудь и другой сбить, сбоку ударить...

— Кто?

— Не знаю. Темнело уже, просто не заметил.

— Темнело, и вы не заметили никого, кто мог бы еще ударить Подосенова,— судья перелистывал дело и по привычке, выработанной за многие годы, коротко повторял суть ответа, чтобы успела записать секретарша. Найдя пужную страницу, судья остановился:

— Значит, вы утверждаете, что драку спровоцировал Подосенов, вы же только защищались?

Сергей повернул голову, и глаза блеснули тем дурацким, упрямым гонором, что был так знаком Ивану Ильичу.

— Я вам третий раз повторяю, что Подосенов нарочно выхватил папироску, чтобы завестись, неужели не ясно?

Судья резко отодвинул дело, застучал карандашом:

— Слушайте, Чулков, вы ведете себя так, будто ни в чем не виноваты. В драке зачинщик не вы, Подосенова изувечили не вы, ведете себя всю жизнь прилично... Дитя, ангел... Послушайте лучше, какие характеристики в нашем личном деле.

«...за время обучения в школе был организатором многих неблагоприятных поступков, допускал грубость по отношению к учителям, пропускал занятия. За хулиганский поступок, выразившийся в срыве занятий по физике, был исключен из десятого класса...».

Иван Ильич сжал виски. Эту характеристику написал он в тот недоброй памяти вечер, когда сорвался его сдвоенный урок. В кабинете физики кто-то запер изнутри двери, просунув в ручку стул, и вылез через форточку.

Сначала подбирали ключ и истинную причину обнаружили, только сняв двери с петель. Класс молча жался вдоль стенок, один Чулков засмеялся, и директор вместе с Иваном Ильичом решили: оп. В кабинете директора Чулков молчал, потом мрачно пошутил: давайте, валите на меня,— и забрал документы. Тогда и написал Иван Ильич эту характеристику, с которой Сергей ушел на завод.

— На заводе,— продолжал судья,— вы из хулиганства сожгли трансформатор...

— Автоматику делал,— буркнул Сергей.

— ...затем вы прогуляли трое суток, вас уволили. В депо же вы работаете всего четыре месяца, и коллектив вас не знает.

В зале всхлиппули.

Только весной, после выпуска, вспоминал Иван Ильич, узнали, что двери запер все-таки не Чулков, как, впрочем, и в проказах участвовал далеко не во всех. Тогда Иван Ильич пришел к нему домой, предложил переписать характеристику, но Сергей беспечно отмахнулся: ни к чему, все равно — работаю.

«Ап нет,— вон как повернулось»,— тяжело вздохнул Иван Ильич и еще раз подивился этому настырному, непонятному характеру.

Когда вынесли приговор, Иван Ильич подошел к плачущей матери Сергея и неловко тронул ее локоть. Она отняла платок от глаз и сглотнула слезы:

— Здравствуйте, Иван Ильич. Несчастье-то у нас какос...

— Я слушал, знаю. Вы не расстраивайтесь. Кассацию надо подавать, за новой характеристикой придите завтра в школу. Та, что в деле, неверная. Строго уж очень.— Иван Ильич сокрушенно покачал головой.

— Писать будем, это уж защитник сделает, да вряд ли чего получится. Все против него, да и он виниться не хочет, с судьями вон как разговаривал.— Всхлипнув, она отерла слезы кончиком платка.— Радовалась, наконец помощи дождалась, а тут, на тебе, четыре года.— И она снова залилась слезами.

Иван Ильич неловко переминался рядом.

— Ничего, должны разобратся. Вы пока в областной подавайте, а я зятю напишу, чтобы помог. Он у меня в Москве в редакции работает, а газета много значит.

На следующий день Иван Ильич сходил в школу с переписанной характеристикой, заверил ее и отдал матери Сергея, а сам отослал зятю письмо, в котором изложил суть дела и просил о помощи. Ответ пришел быстро. Зять писал о столичных новостях, сетовал, что не дают отпуск, и в самом конце бегло оговорился, что помочь ничем не может.

— Драка есть драка,— писал он,— и проломленный череп не такая вещь, которую можно легко объяснить, и защита такого рода для газеты несколько необычна. Ты — другое дело, ты его учитель и можешь хлопотать в частном порядке...

Письмо удивило и обескуражило Ивана Ильича. Просидев целый вечер в раздумьях, он решил, что лучшее — писать выше, в Верховный Суд и поделиться мыслями не только о Сергее, но и всеми выводами и наблюдениями, которые он сделал в последнее время. Впервые он подумал об этом дней пять назад, когда упоенно читал взятые в библиотеке «Судебные речи известных русских юристов», книгу, по его мнению значительную, умную и поучительную не только для судей. Уже за полночь пришло в голову начало письма.

Он писал о душевном аффекте Сергея, снимавшем с него часть вины, если она действительно была, сделал небольшую оговорку, написав о неправоте обеих сторон, участвовавших в драке, рассказывал, что знал о жизни и характере Сергея и что для таких, как он, тюрьма как средство воспитания бессмысленна и не нужна, а четыре года заключения лишь жестокое возмездие, способное запугать или ожесточить, но не исправить. Писал он и об увеличении сроков наказаний за незначительные проступки, сравнительно с прошлым веком,— и сослался на прочитанную книгу. Еще писал о пагубности вина, его чрезмерной доступности всем и каждому и предлагал, по примеру скандинавских стран, ввести специальные талоны на приобретение в течение каждого месяца строго определенного количества спиртного.

Много что еще писал в эту ночь Иван Ильич, спеша передать все то взволнованное, что накопилось и мучило его, и только под утро, дописав последние строчки, уснул не раздеваясь, забывшись в тревожном сне.

Проснувшись, Иван Ильич аккуратно переписал письмо. Многие, что вчера воспринималось свежо и убедительно,

тельно, поблекло, но переделывать было некогда. Он запечатал в конверт пять больших, бисерно исписанных листов и отправил заказным.

Через неделю вернулось уведомление, что письмо в канцелярию Верховного Суда получено. Иван Ильич приободрился, ожидая ответа, который и пришел еще дней через десять. Небольшая плотная бумажка сообщала, что его надзорная жалоба переслана в областной суд, откуда и надлежало ждать решение.

Прочитав бумажку, Иван Ильич скис, но потом поразмыслил и решил, что письмо, поступившее в областной суд из такой высокой инстанции, сможет оказать более благоприятное действие на судьбу Сергея. Он собрался и пошел к Чулковым, узнать, разбирали ли кассацию.

Мать Сергея, осупувшаяся и постаревшая, встретила его в дверях. Торопливо обмахнула передником стул, — садитесь, — а сама остановилась рядом и напряглась в ожидании.

— Выхлопотали что-нибудь? — спросил Иван Ильич. Она тяжело вздохнула:

— Подавали в областной на пересуд, да так и осталось. Люди советуют в Москву съездить, да не бывала ни разу, не знаю, куда там податься. — Она поправила загнутый угол половика, снова вздохнула. — Как говорила, не ходи, не связывайся — все без толку. — Она помолчала и спросила с надеждой, неловко:

— Вы написать зятю-то собирались... Не вышло, поди...

— Писал. Он ответил, что рад бы помочь, да у них газета, знаете, не такая, не в этом плане.

— Знамо дело, если в другом месте работает. — Она по-ребячьи шмыгнула посом. — Придется, видно, все четыре сидеть. Учила, кормила — на тебе. Верно старики говорят: с малыми горе, вырастут — вдвое... — Она смахнула слезу и хлопотливо бросилась к двери. — Посидите, я сейчас чайничек поставлю...

— Нет-нет, — запротестовал Иван Ильич. — Я ненадолго. Я ведь в Москву писал, в Верховный Суд, ответ сегодня пришел, что здесь должны рассмотреть. Думаю сходить сам в областной, поговорить.

Мать просветлела, ободренная новой надеждой.

— Спасибо, Иван Ильич, хороший вы человек, дай бог

здоровья. Вы больно-то не отчаивайтесь, если не получится. Отсидит — и там ведь люди, стыдно только очень.

— Ничего, хлопотать будем.

Прямо от Чулковых Иван Ильич решил идти в областной суд и поговорить лично с председателем, так как по опыту знал, что живое слово, живое убеждение действует сильнее самых неотразимых доводов, изложенных на бумаге, тем более бумаг таких, как он думал, председателю облсуда доводится читать не менее десятка на день. Идти сейчас было самое время: дело недавно было на пересмотре, да вдобавок письмо из Москвы наверняка уже пришло, так что визит Ивана Ильича не будет неожиданностью.

На внушительной, обитой дерматином двери висело две таблички: председатель областного суда тов. Сахаров Н. А., и что прием производится по вторникам, четвергам и пятницам с десяти до тринадцати часов. Сегодня был понедельник. Иван Ильич немного колебался и вошел в приемную. За столом сидела секретарша и что-то переписывала из книги в тетрадь. Она, как показалось Ивану Ильичу, с неудовольствием оглядела его и сдержанно ответила на приветствие.

— Скажите, к товарищу Сахарову можно?

— Сегодня неприемный день. Сходите к заместителю, это этажом ниже, он как раз сейчас принимает.

— Знаете, мне бы к самому. Я — учитель, по личному делу...

— Тогда завтра с десяти.— Она потянулась к книге.

— Мне бы сейчас, всего на пять минут...

— Подождите, спрошу, но лучше бы завтра.— Покачиваясь, она прошла в кабинет и чуть погодя вышла улыбающаяся, но тотчас посерьезнела, осторожно прикрыла дверь.

— Войдите, только педолго,— и прошла к столу. Иван Ильич замешкался:

— Скажите, а товарища Сахарова по имени-отчеству как?

— Николай Абрамович,— сухо ответила секретарша.

Сахаров встретил Ивана Ильича радушно. Приподнявшись из-за стола, он поздоровался с ним за руку, гостеприимно указал на кресло.

— Вы из какой школы?

Иван Ильич ответил, и Сахаров оживился:

— А, от Степана Петровича... Знаю, знаю старика. Все еще директорствует? Ведь пенсию он давно выработал...

— Давно,— подтвердил Иван Ильич, и, осторожно извинившись за несвоевременный визит, он рассказал суть дела.

Сахаров вызвал секретаря.

— Мне дело Чулкова, то, где надзорная жалоба из Москвы.— И, постукивая костяшками пальцев, разговаривался:

— Мы с вашим директором старые знакомые, в тридцатом году в одном районе работали. Я, еще молодой, следователем, он в роно. Тысячи полторы тогда в районе учеников у него было. Сейчас, поди, в школе больше?

— Да около двух тысяч. Тяжеловато...

Секретарша внесла папку. Председатель наклонился и бегло просматривал листки, исписанные рукой Ивана Ильича, сосредоточиваясь на пометах, разбросанных по всему тексту.

— Да, да, помню... Как раз по этому делу недавно разбирали кассацию. Суд прав — приговор оставлен без изменения. Кстати, ответ я вам вчера подписал, сегодня-завтра получите. Там все изложено.

— Я понимаю,— заволновался Иван Ильич,— но человек он особый, сложный. Я три года его знаю, и то ошибаюсь. Из школы мы его неправильно исключили. Собственно, исключили на две недели, да и то, впоследствии выяснилось, ни за что,— а он документы забрал. Он ведь не хулиган, случайность... Характеристика, что в деле была,— необъективна, я писал в запальчивости.

— Не спорю, не спорю. Учли, что в первый раз, что был возбужден,— ему и дали ведь меньше: по этой статье до восьми лет — телесное повреждение, опасное для жизни потерпевшего в момент причинения. Характеристика здесь не столь важна. Следствием установлено, что Подосенов ударился головой о камень в результате удара именно Чулкова...

— Да не может же быть... Если бы ударил Сергей, он сознался бы... А тут, возможно, кто-то со стороны, сбоку, ведь восемь человек дралось.

— Видите, это ваше субъективное мнение. Доказательств же никаких нет, что ударил кто-то другой. Подосенов тоже показал на Чулкова.

Сахаров откинулся на спинку стула.

— Знаете, к нам ходят очень часто, особенно родственники. Обычный разговор: он, дескать, хороший, но ошибся, сорвался, дружки подбили... Приходят, нервничают, обвиняют нас, общество. Мы-то ведь тоже что-то понимаем, и суд детально разбирается в любом преступлении, в личности самого подсудимого. Это очень сложно, осудить человека, поверьте моему опыту.

— Да, но ведь целых четыре года, в такой обстановке... Другое дело — условно, он бы оправдал, честное слово, хоть десять. Даже штраф дать, работай, выплачивай процентов двадцать в пользу пострадавшего, если вы убеждены, что это сделал именно Сергей, но только не в тюрьму. Мать жалко... Такую семью подняла. У нее лет пять жизни унесет эта беда.

— А мать пострадавшего не жалко? Мы ведь должны и обратную сторону помнить. А если бы насмерть?

— Но ведь он спровоцировал драку, выдернув папироску у Чулкова. — Сахаров развел руками.

— Доказательства где? Чулков утверждает одно, Подосенов — противоположное. Чулков показывает, что Подосенов выхватил у него папироску, но ведь он первым ударил Подосенова в лицо? Он — зачинщик драки, в которую втянулось еще шестеро. Остальных решили не привлекать, они помоложе, на первый раз достаточно штрафа в административном порядке. Чулков ваш, как более старший, других был обязан остановить, а не лезть первым...

Иван Ильич загорячился:

— Николай Абрамович, мы ведь тоже были такими. Понимаете, что задет какой-то кодекс чести, очень важный в этом возрасте. И реакция на оскорбление естественна, девяносто девять из ста сделали бы то же самое...

Сахаров достал папироску, аккуратно обстучал ее.

— Хорошо, вот вы учитель. Вы сами должны чувствовать, что с молодежью все труднее и труднее — черт знает, от хорошей жизни, что ли? Вам не приходила мысль, что когда вы идете навстречу подгулявшей компании, что вас могут ни за что ни про что оскорбить?

Иван Ильич замялся, виновато улыбнулся:

— Бывает: особенно если такие, развязные...

— Вот видите. И мы не можем, не имеем права поощ-

рять безнаказанность. Переступил черту закона — будь любезен, отвечай,— для других уроком будет. Вас я, конечно, понимаю, но ничем помочь не могу. Область и так недавно критиковали за рост хулиганства...

Он встал, давая понять, что разговор окончен. Но Иван Ильич не заметил:

— Здесь же совершенно иной случай, очень сложный характер, честный характер. Нельзя таких людей сажать, от этого нет пользы абсолютно никому...

Сахаров немного походил по кабинету, подошел к столу и шевельнул рукой под крышкой. Бесшумно вошла секретарша:

— Николай Абрамович, вам ехать нужно. Машина ждет.

Иван Ильич смутился, засуетился.

— Простите, пожалуйста, я задержал вас...

— Ничего, ничего, значит, так: суд поступил правильно. Теперь дело только в нем. Умный человек, трудолюбивый, как вы говорите, значит, сумеет заслужить, и освободят досрочно. А пока пусть почувствует, за что наказан, пострадает,— смотришь, на всю жизнь урок. До свидания.

Иван Ильич вышел. В голове все смешалось, но он чувствовал, что сказал совсем не то и не так, как следовало бы. Он не хотел и не мог верить, что пропала последняя надежда и что Сергей останется в тюрьме.

Иван Ильич остановился у подъезда, решив дождаться председателя суда и спросить еще немного о Подосенове. Если тот признает себя зачинщиком, изменится ли судьба Сергея? Сахаров не выходил. Иван Ильич подождал еще и огляделся, у подъезда машины не было. Он все понял и заторопился домой, чувствуя во всем теле страшную усталость и неловкость.

Послезакатная лазурь медленно блекла, отступая перед густой синевой начинающейся ночи, которая смешала небо и воду в одно густое, бесформенное пятно, и только разноцветные мигашки маяков впереди скрадывали пугающее впечатление бесконечности.

Море было спокойно. Редкие волны размеренно и бесшумно накатывались с правого борта, изгибаясь, проскальзывали под килем, томно ласкались в отсвечивающей зелени ходового огня и проходили дальше, чтобы со стонущим всхлипом разбиться о надменное безмолвие уже недалекого берега.

Корабль спешил в базу. Огнивцев стоял на руле, с механической привычкой, выработанной тремя годами службы, поправляя штурвал, чтобы в последний раз привести корабль к его родному причалу. Сегодня рулевой заканчивал службу и теперь прощался с морем. Огнивцев смотрел на сопки — холодные, суровые, десятки тысячелетий противостоящие непоседливым волнам Ледовитого океана, и в однообразной изрезанности берега проглянула уверенная простота. Узкой полоской высветилась луна. Под берегом белел взъерошенный прибой и мерно шумел, перекликаясь с грустным посвистом бесприютности ветра.

Вправо уходило море. Когда-то здесь шли бои — и памятные точки на штурманских картах напоминали о прошедшем. Одна из таких точек была совсем рядом, прямо по курсу, минутах в трех хода.

Огнивцев посмотрел на маяки. Здесь, на плесе, стояло в первый год войны в своем последнем дозоре суденышко самой мирной специальности — рыболовный сейнер. С началом боевых действий получило оно несколько пулеметов, пушчонку и с ними — грозное название — сторожевой корабль.

В том поединке один сражался против пяти, рыбацкий сейнер против миноносцев, пушчонка против десятков орудий. Это не могло быть единоборством: разве гном сражается с Голиафом, разве один может противо-

стоять сотне? По логике — нет, но у войны своя логика. И корабль был одним из последних бастионов родины, тех бастионов, которые нельзя захватить, не уничтожив. И сейнер шел в бой — ведя огонь из всех стволов, какие были на борту, и чужие корабли вынуждены были отойти назад, выйти из зоны досягаемости его пушки. Застопорив ход и расположившись по кругу, они методично и размеренно расстреливали его из своих дальнобойных орудий. Сейнер держался, маневрировал, уклонялся от разрывов и вновь рвался вперед, чтобы хоть на сотню метров, но отогнать врага дальше от родного берега.

И когда уже не осталось почти никого в живых из экипажа и уже некому было заделывать пробоины, рядом с израненным красным флагом, намертво прибитым гвоздями к мачте, взвились разноцветные полотнища, мужественный и скорбный сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь».

Огневцев подошел к мачте, медленно пополз вниз флаг, вздрогнул гудок — долг сыновей перед отцами.

На мостике появился командир — полный, немного рыхловатый капитан-лейтенант. Неуклюже протиснулся в дверь, тесноватую для его грузной фигуры, глянул на маяки:

— Ну, все, — сказал он рулевому. — Доверни влево и ложись на створ... Прибыли.

— Есть.

Корабль развернулся. Из-за края подвинувшейся сонки полозла узкая россыпь огней. Они мапили к себе, обещая неприхотливый уют базовой стоянки: теплый кубрик, горячий чай, спокойный, тихий отдых, — и на душе потеплело.

В динамике захрипел голос дежурного по базе:

— Сто двадцатый, сто двадцатый — вам швартоваться к четвертому причалу. Повторяю — не к своему, а к четвертому. Как поняли — прием!

Командир взял микрофон:

— Вас понял — к четвертому...

Он нажал тумблер, и резкая дробь аврала вытолкнула наверх швартовую команду.

«Своим» причалом был второй — к нему привыкли, и, когда приходилось стоять где-либо у соседей, появлялась некоторая пеловкость, словно в родном городе пришлось вдруг ночевать в гостинице. В последнее время в дивизии прибыли новые корабли, места не хватало, и тот, кто

возвращался в базу последним, швартовался к тральщикам. Разница была небольшой — около километра, если идти берегом бухты, и Огнивцев подумал, что завтра нужно будет поспешить — обязательно успеть зайти на дивизион и проститься с друзьями.

Овальный луч прожектора разрезал темноту, выхватив из нее четкие силуэты кораблей, маленькие фигурки вахтенных на крайнем корпусе. Командир поднял руку, и Огнивцев, еще не услышав, уже почувствовал команду, переложил руль влево. Командир резко перекинул рукоятку реверса с малого переднего хода на задний, потом на «стоп». Правая машина на несколько мгновений проработала дольше, и корабль, всей плоскостью борта прижавшись к своему собрату, остановился. Так во всем дивизионе мог швартоваться только «сто двадцатый», и командир с рулевым в этот момент словно сливались во едино с кораблем.

Моряки проворно просунули под леерами петли швартовых — длинное тупомордое тело покорно вытянулось на привязи.

Люди на верхней палубе проворно и споро снимали штормовые леера, крепили шлюпку, зачехляли орудия. Электрики тянули корабль к береговому щиту питания. Еще через несколько минут неровным, прерывающимся воем заглох движок — и с ним как бы заснул корабль. Люди ушли вниз, в тепло — кубрики оживали, наполняясь шумом промерзших голосов. Возбуждение спадало — жизнь сама собой входила в привычный распорядок базовой стоянки. Бачковые накрыли столы, принесли вечерний чай. Наскоро перекусили, переговариваясь о походе, завтрашней вахте, поспорили, будут до конца года учения или нет. Огнивцев молчал — его служба заканчивалась через одиннадцать часов. После чая все заторопились в кино. Кубрик снова опустел, только первогодок, примостившись на рундуке, старательно писал письма. Огнивцев подошел к койке, разобрал ее, лег. Начал думать, что с завтрашнего дня меняется жизнь — ее уклад, привычки. Вспомнил дом и порадовался скорой встрече, какими счастливыми будут родители, братья, какая привольная наступит жизнь — без долгих морозных вахт, тревог, без томящего однообразия кубрика...

Мысли сбились. Он подумал, что завтра придется навсегда проститься со своим кораблем, и стало немножко

тоскливо. Вспомнил, как пришел сюда — молодой, никогда не видевший моря, и как ждал его появления с каким-то радостным испугом. Вспомнил свой первый боевой выход — когда до приторности сладко заходило сердце, падая вместе с кораблем с гребня волны к ее подножью. Качка ему поправилась — жуткая и восторженная отвага жила в душе, рвущейся наперекор стихии. Но вскоре его укачало — тяжелый, больной, разбитый, свалился на койку — не было сил даже для того, чтобы подняться, если вдруг срочно бы потребовалось спасаться... За это над ним, как над всеми новичками, немного подшучивали после — беззлобно и недолго — до следующего выхода, который переносился уже легче. По трапу звонко заперебирали каблуки — появился дежурный по кораблю Игорь Силин. В армейских уставах ничего не сказано об именах — там военнослужащих положено называть по фамилии, но командир отделения радистов старшина 2-й статьи Силин был так моложав и застенчив, что даже командиру стоило усилий не называть его Игорьком.

— Все, Толя,— весело сказал он Огнивцеву.— Будет тебе «Славянка», договорился с ребятами с «четвертого»...

«Прощание славянки», или «Славянка», как называли его моряки, этот русский марш был традицией, пусть нигде не записанной, но не ставшей от этого мельче или приниженнее... Так уж было заведено когда-то и так передавалось из поколения в поколение, что этим маршем корабль прощался с людьми, которые оставили ему годы своей недолгой молодости и уходили. Кое-где демобилизованным при прощании стелили на трап новые простыни — символ чистой совести при разлуке и предвещание такого же безупречного будущего. Вместе с гордой, рыдающей мелодией марша моменты эти оставались в памяти навсегда.

Огнивцев встрепенулся, поблагодарил. Каждый раз в этом году, слушая «Славянку», он думал, что она проводит и его. Уходили друзья-одногодки, потому что замена Огнивцева, молодой рулевой, прибывший из учебного отряда, неожиданно попал в госпиталь. Больше свободных рулевых в дивизионе не было, и Анатолию пришлось отслужить еще пятьдесят дней, ожидая очередного выпуска из «учебки».

— Не забывай, напиши, как устроишься,— попросил Силин.

— Напишу,— согласился Огнивцев.

В шесть часов, как всегда, сыграли подъем.

Огнивцев поднялся, старательно выбрился, умылся. Степенно и не торопясь надел новые, тщательно отглаженные брюки и суконку, которые специально берег для этого дня, еще раз перебрал чемодан. Еще не закончилась приборка, когда его вызвали на дивизион. Застегивая на ходу бушлат, сбежал на причал. По узкой, протоцпанной в снегу тропке обошел бухту, коротко стукнулся в будку дежурного.

Комдив, оборвав на полуслове разговор, поздоровался за руку:

— Домой, значит?

— Домой, товарищ капитан второго ранга.

— Добро,— улыбнулся комдив.— Я в штабе договорился, сегодня в восемь пятнадцать автобус идет, так они тебя захватят. Да, еще дежурному передай, на подъем флага построение всем дивизионом. Чемодан с собой возьми, иначе не успеешь...

— Есть!

Любой день на флоте начинается подъемом флага. На стоянке флаг поднимают в восемь и спускают с заходом солнца, в море корабли несут флаг круглые сутки. Подъем флага — всегда торжество, и выстраиваются на подъем все, кто свободен от вахт. Выстраиваются обычно на своих кораблях, и только в исключительных случаях построение бывает общим. Все это наизусть знает Огнивцев, только понять не может — по какому случаю сегодня весь дивизион строят.

«Итоги учения, наверное, объявят,— подумал он и огорчился, вздохнул.— Не получится «Славянки» на корабле, не успеть — жалко...»

Без десяти восемь ожил причал, черный от матросских шинелей и с первого взгляда напоминающий растревоженный муравейник. Разобрались по кораблям, выравнялись — начались обычные проверки, доклады.

Через несколько минут появился комдив, выслушал рапорт дежурного, поздоровался, неодобрительно поморщился на левый, запоздавший с приветствием фланг.

На мачтах подлетели кверху белые полотнища «исполнительных» — заторопился на свое место комдив и де-

журный, вскинув руку к козырьку, раскатился командой:

— На флаг — сми-и-и-и-р-р-р-но!!

Строй замер.

— Флаг поднять! — И тотчас, отбивая полную вахту, мелодично ударили склянки.

День начался.

С командой «вольно» вышел из строя комдив и вновь притих дивизион, напряглись ожиданием сотни глаз — что будет?

Комдив осмотрелся, нашел Огнивцева, сделал ему знак рукой — и взял под козырек:

— Старшина первой статьи Огнивцев — выйти из строя!

Четко стукнули два шага — и разворот.

— Товарищи! Сегодня мы провожаем в запас одного из лучших наших моряков — Толю Огнивцева. За три года службы он сделал очень много для поддержания высокой боеготовности своего корабля и всего нашего соединения...

Голос комдива крепнет, слегка вибрирует, и ветер сглатывает окончания слов:

— Дивизион, смирно! От имени командования соединения награждаю старшину первой статьи Огнивцева именными часами и выражаю уверенность, что и дальше не уронит высокого звания моряка-североморца.

Комдив протянул картонную коробочку, пожал руку, добавил вполголоса:

— Все, Толя. Доброго тебе пути... Иди...

Огнивцев хотел что-то ответить, но сразу не сумел, растерялся, и в этот миг откуда-то издалека выплеснулись первые аккорды марша. Они крепили, набирали силу, и комдив, подчиняясь общему порыву, забыв, что команда уже подана, вновь скомандовал «смирно» и развернулся в сторону уходящего старшины.

Теперь звучала одна музыка — величавая и уверенная, как поступь войска, мелодия, и, перебирая ее, пронзительно выплескивалась другая — щемящая душу боль разлуки. А на крайних корпусах кораблей ветер яростно рвал разноцветные флаги — сигнал, понятный морякам всего мира, который в переводе на простой человеческий язык означает три простых слова: желаю счастливого плавания.

ПОВЕСТИ

После демобилизации осенью сорок седьмого года Илья Ветров не сразу поехал на Урал, где жил до войны, а решил из Москвы завернуть немного к северу, провести семью своего погибшего друга и командира Лёши Нечаева.

Ранним сентябрьским утром сошел он на небольшой заспанной станции, поправил закинутый за спину «сидор», потом окликнул встречного мужика, низкорослого, но на вид — крепкого.

— Слушай, друг, это Колдома?

— Почти, — охотно откликнулся тот. — Если на станцию — она самая, а если в поселок, то вон за светофором дома, — показал он рукой и пристально оглядел Илью: — А кого, если не секрет, надо? Не меня, чай?

— Нет, — коротко усмехнулся Ветров, — не тебя.

— Ну и ладно, — согласился встречный. — Бывай здоров, солдат. — Не найдешь, кого надо, заглядывай в гости, Веньку Маслова спроси — я там с краю живу...

Ветров не ответил. С шумом и лязганьем летел навстречу паровоз с вереницей грязно-красных, с верхом груженых вагонов. Потянуло горелым железом, запахло деревом — свежим, смолистым, оба запаха мешались, щекотали поздри терпкой, запомнившейся с войны сладостью. Подлаживаясь под перестук колес, Ветров зашагал к поселку, но то и дело сбивался с ноги, не угадывая промежутки между шпалами.

Поезд прошел и затих. Немного погода вздрогнул и покатился над округой гулкий гудок, замер и отозвался глухим эхом где-то далеко за лесом. Между станцией и поселком лежали огороды — длинные гряды с увянувшей картофельной ботвой, прибитыми к земле стрелками лука, с плотными капустными кочанами. Несколько женщин копали картошку. Заметив незнакомого солдата, они выпрямились и пристально смотрели из-под сложенных козырьком ладоней — не к ним ли? Ветров спросил про Нечаевых — ему ответили наперебой и долго водили руками, объясняя, в котором доме живет Катерица. К дому

вела тропинка — за огороды, через пизину, на бугор, заросший лопухами и чертополохом. Ветров мимоходом сорвал мягкую малиновую головку, размял ее пальцами, с силой вдохнул медово-приторный запах, напомнивший ему детство. Сначала он вспомнил дом, как рубили в детстве они пунцовые головки деревянными самодельными саблями, играя в войну, а уже игра напомнила об Алексее. Вот в такой же тишине среди сорных зарослей лежали они под маленькой деревушкой со смешным названием Песья Радость, что рассыналась по кособокому недалеко от Харькова, слушали, как звенят шмели, обрадованные тишиной и мающим ароматом, смотрели в небо и рассказывали друг другу о себе. Полк отдыхал перед наступлением. К тому времени прослужили они вместе месяцев шесть — и хотя разница в возрасте была невелика, Алексей с грубоватым простодушием старшего опекал застенчивого салажонка. Год, на который Алексей родился раньше Ильи, стал для него годом войны, и потому он казался старше чуть ли не вдвое. А в тот раз они говорили на равных — вспоминали прошлое, делились всем сокровенным, что есть на душе.

Еще Алексей читал вслух письма жены, с которой прожил лишь три дня — от повестки до явки на призывной пункт, читал все подряд, томясь и тоскуя, неожиданно взял с Ильи слово, что в случае чего (мало ли что бывает на войне) тот обязательно заедет в Колдому и расскажет Катерине все как есть и было.

Теперь Илья шел один, шел и думал, что ждет его в конце этой дороги? Как и что говорить о жизни того, кого больше нет? Перешагнув поваленный плетень, Илья прошел заросшим, наполовину неконапым огородом, постучался в дверь. Никто не ответил, тогда Илья потянулся к окну, негромко брякнул в стекло.

— Не заперто, входите, — отозвались изнутри.

Илья поднялся по ступенькам в сени. Не заметив порога, оступился. Загромыхало по полу сбитое ведро, блестя лужеными боками в серебристо-дымчатых солнечных полосках. Илья поставил ведро на прежнее место и вошел в избу.

У стола сидела худенькая женщина с ребенком на руках, кормила малыша памятой с молоком картошкой.

— Здравствуйте, — наклонил голову Ветров. — Мы с Лешей... С Алексеем вашим служили вместе.

Женщина крепко обхватила сынишку, медленно поднялась из-за стола, с испугом и надеждой заглядывая в глаза вошедшему. Молча кивнула: входите. Ветров подошел ближе, протянул руку к головке малыша:

— Николка, значит... Большой уж. Три ведь ему? — утвердительно спросил он, не дожидаясь ответа. Как раз зимой письмо пришло, что родился, мол, а Алешу в этот день ранило в плечо. — Эх, да, — вздохнул он, не зная, как высказать то, что думал, но Катерина поняла. Помолчали: о том еще не время было говорить.

— Как живете-то, — спросил Ветров, — не забижают?

— Ничего, спасибо. Пенсию за Лешу получаю, сама работаю. На лесопильном заводе, здесь, в поселке. Ну чего ты, маленький, — она покачала прижавшегося к груди малыша, — то к нам в гости дядя приехал... — Малыш настороженно взглянул на Ветрова, потом снова уткнулся матери в плечо.

— Боится он у меня... Привык один играть, пока я на работе. Сидит, кубики раскладывает, никого почти не видит.

— Одного и оставляете?

— Да больше делать нечего. Иногда, правда, старушка одна, Макаровна, живет тут недалеко, заглядывает, да сама, когда минута свободная, прибегу. Раньше на работу с собой брала, но сейчас продукции много, посадить негде. Да он ничего, спокойный. Один остается — не боится.

Ветров отер рукой лицо, подумал про себя — долго ли так до беды, но ничего не сказал.

— А ну, богатырь, давай на самолете покатаю. — Он взял малыша под мышки, несколько раз поднял к потолку. — Вон мы какие большие, и-эх! Выше всех!

Из-под потолка раздался тихий смешок.

— Не боишься, значит? Правильно, не бойся...

Он поставил малыша на пол, отдышался. Николка немного подождал, потом протянул ручонки:

— Еще...

— Хватит, Коля, хватит, — погрозила пальцем мать. — Дядя устал, — и, словно извиняя радость сына, добавила:

— Редко кто с ним играет, — вот он и рад.

Потом заторопилась, смахнула со стола крошки:

— Вы садитесь, я сейчас быстро соберу что-нибудь. Илья остановил ее, взял мешок, зубами потянул узел:

— Есть тут кое-что, возьмите, — и стал выкладывать

на стол банки с яркими картинками и четкими перусскими буквами по бокам. Катерина подвинула банки обратно:

— Не надо, ничего не надо... У нас же есть все,— торопливо добавила она, зная, что он не поверит, и неловко поклялась: — Честное слово, все есть, лучше у себя оставьте.

— А это не мое,— отмахнулся Илья, вынимая новые свертки.— Это друзья Лешины собрали, попросили передать, и это тоже.— Он протянул завернутый в газету отрез материи и отвел глаза в сторону, словно боясь, что она по взгляду догадается, чего стоило ему выменять новые сапоги и часы на этот вот сверток и как торговался на базаре в Лодзи пронырливый старикашка с крючковым, выдавшим виды носом.

Катерина нерешительно взяла одну банку, поблагодарила. Николка привстал на цыпочках, потянулся пальчиком к ярко-красной коровьей голове:

— Мама, что это?

— Консервы, сынок.

— А их кушать можно, да?

Илья шумно сгреб банки в охапку:

— Это все положим вот сюда, в буфет, а теперь скажите, как в этом доме разжигают огонь?

Катерина достала с печки зажигалку.

— Да нет, печь топите или чего? — объяснил ей Илья.

Она достала из-под лавки керогаз, протянула тоненькую лучину. Огонек пробежал по дереву, перескочил на фитили и загудел голубым пламенем. Илья налил в кастрюлю воды, бросил щепотку соли, поставил греться. Потом ловко взрезал жесть банки, вывалил содержимое в воду, добавил немного пшена из кулька, остатки положил за узорчатую буфетную створку.

— Любишь ты, Николка, пшенную кашу?

Николка нерешительно глянул на мать, улыбнулся:

— Люблю.

— Тогда принеси маме ложку, и пусть она смотрит, чтобы не пригорело в кастрюле, а я пока двор посмотрю.

Дел было много: половицы в доме давно рассохлись и протяжно скрипели при каждом шаге, дверь на повети — крытый сарай, пристроенный к дому, перекосило, и она не закрывалась, на колодце не было крышки, а в крыльце уже загнили некоторые ступеньки. Ко всему требовалась

мужская рука, и мысленно Илья прикинул, что дня на три здесь придется задержаться, подзаняться ремонтом.

За завтраком он сказал об этом Катерине.

— Спасибо, сама я, — отказалась та. — Руки ведь есть...

— Сама, сама, — передразнил Ветров. — А двор течет, а огород не копан, дров нет — тоже сама?

— Дрова есть, — торопливо возразила она. — С завода отходов выписала.

— Отходы в дело пустим, а дров настоящих надо — от щепок этих проку все равно не будет. И запомни, что мне это строго-настрого товарищи заказали: заехать и помочь в чем требуется. От Леши мы, кроме добра, ничего не видели, и семье его бедствовать не дадим. Так что не скрытничай, лучше сама подскажи, что сделать, да инструмент найди какой-нибудь.

Оп говорил с ней каким-то стариковским покровительственным тоном, каким говаривал их ротный старшина, вечно ворчащий и скупой украинец Шулько, и не мог заставить себя говорить иначе, потому что чувствовал, насколько он опытнее и мудренее этой беззащитной девушки, которая, наверно, и сама не верит, что уже несколько лет единственная хозяйка в доме и почти три года мать. Инструмент нашелся — топор, рубанок, лучковая, рассчитанная на одного работника пила, немного гнутых, ржавых гвоздей. Первым делом Илья сработал что попроще: поправил на повети верстак и выстругал доски на колодезную крышку, подогнал дверь. Николка сидел рядом и копошился в обрезках. За работой незаметно пролетело время — засобиралась во вторую смену Катерина. Перед уходом устлала постели: Илье, по его просьбе, на печи, вдоль стенки, Николке в кроватке. Наказала, чтобы ее до утра не ждали, спали спокойно, показала, что где лежит, на всякий случай — мало ли потребуется ночью. Почти сразу по ее уходу Николка запросился спать. Старательно и неумело Илья помог ему раздеться, даже припомнил какую-то древнюю, в детстве слышанную сказку, но до конца рассказать не успел: мальчуган немного поворочался с боку на бок, устраиваясь поудобнее, и заснул, зажав кулачками край одеяла.

Захотелось прилечь и Илье. С непривычки потяжелели мускулы, от пота зудело тело — он стянул гимнастерку и

онолоснулся под рукомойником. Потом аккуратно сложил на табуретке обмундирование, из стыда перед хозяйкой запрятав подальше запошенную нательную рубаху, обернул вокруг голенищ портянки и полез на печь.

Но сон не шел: вперебивку мелькали мысли, сквозь ситцевую, вылинявшую наволочку сочился нежный дух увянувшей травы. Снова нахлынули воспоминания...

...Там, под Песьей Радостью, и зацепило его первый раз. Случилось это неожиданно и странно: перед рассветом откуда-то ударили по деревне немцы, какая-то заблудившаяся часть, да так, что солдаты своих мест занять в траншеях не успели и дрались врукопашную на околице. В этой суматохе и наскочил Илья на тяжелый, опрокинувший навзничь удар. Помнилось только, что услышал он чей-то громкий выдох, почувствовал замах, но увернуться не успел. Деревушку эту вернули и прошли еще километра два вперед, а Илья так и остался за околицей, неловко завалившись на спину — не слыша, не чувствуя, не понимая. Еще не все стихло, когда принялась за дело похоронная команда, сортируя трупы своих и врагов, стаскивая их к двум приготовленным могилам. И лежать бы Илье Ветрову вместе с боевыми товарищами, не случись тут помкомвзвода Нечаев. Это он, вернувшись за брошенным впопыпах шанцевым инструментом, неожиданно усмотрел, что Илья вдруг шевельнул рукой. Тотчас кликнули санитаров, и Ветрова отправили в санчасть...

Вскрикнул и громко заплакал во сне ребенок. Илья торопливо соскочил вниз, громко ударившись босыми пятками, подул мальчугану в лоб, бережно погладил плечо. Причмокивая, несколько раз шлепнули губешки — успокоенный Николка повернулся на бок.

Илья оделся, обул на босу ногу сапоги и вышел во двор — покурить. В темноте редкими желтыми пятнами светились окна, и над ними — зеленая точка светофора. За огородом ровным стрекотом заходились кузнечики, а где-то вдали, как отодвинувшаяся линия фронта, отсвечивали слабые снолохи зарниц. Илья сел на крыльцо, шумно затаился и поднял голову.

Выбиваясь из серебристой пыли Млечного Пути, горели звезды — крупные, яркие, и чем пристальнее вглядывался Илья в небо, тем ближе придвигалось оно к нему. Но отскочившей головкой сички пролетела на землю

звезда, видение исчезло. Быстро отодвинулись назад звезды, все еще крупные и яркие, но уже далекие, чужие, холодные.

— Кто там? Закурить не пайдется? — раздался из темноты знакомый и хриплый голос.

— Найдется, — полез в карман Илья. Человек из темноты приблизился и, протянув руку за папирсой, поклонился, пытаясь узнать собеседника.

— А, солдат, — обрадовался он. — Что ж сразу не сказал, что к соседке моей прибыл.

— Не знал, что соседка, — подвинулся Ветров, освобождая место. — Садись.

— Знакомый али кто будешь Катерине?

— С мужем ее служил вместе, — Илья сделал две сильные последние затяжки, обжегшие пальцы, аккуратно плюнул на светлячка. — По пути мне, так ребята просили по хозяйству помочь.

— При тебе Лешка-то погиб?

— Не совсем. Он после госпиталя опять в нашу дивизию попал, только в другой полк. На роту его поставили. Получил в штабе назначение, выехал, а на место так и не прибыл. Несколько дней разбирались, потом дознались, что на попутной добирался и накрыло их прямым попаданием. «Студер» мины вез, рвануло — никаких следов не осталось, но свидетели нашлись, подтвердили, что именно в него и сажился Лешка. В Польше, в феврале сорок пятого было.

— Да, — протянул Маслов. — Сколько хороших мужиков печаянно погибло — ужас. Мог бы ведь уцелеть — третий год воевать заканчивал, опытный. Дружок он мой был. Лешка-то. Мы с ним с одного года — с двадцать третьего, — и он с силой выдохнул ароматный папирсный дым. — Бабу его жалко, — хороший человек. Похоронка на руках, а до сих пор ждет, надеется на что-то. У самой горе, а со всего поселка бабы к ней жалиться приходили — каждую утешала. Я-то еще в сорок пятом демобилизовался — по ранению, и промашка у меня тогда случилась.

Он помолчал, Илья с нетерпением и неожиданно загоревшимся раздражением ждал продолжения, предчувствуя что-то нехорошее. Вепька побрякал коробком, еще раз прикурил — чертов табак, чуть прозевай — гаснет! — сплюнул, потом заговорил дальше:

— Свататься я к ней пришел. Выпивши, конечно, трезвый бы не решился. Сел, поговорил за войну, Лешку пожалел, да и ляпнул — сразу так: выходи, мол, за меня, его все равно не вернуть, а о жизни думать надо. И тебе, говорю, лучше, и сынишке. Любить, говорю, буду, и прочее все... Эх, — он с досадой выплюнул вновь погасший окурок, — дернула же меня нечистая в тот вечер — простить не могу. Обидел я ее, но ничего не сказала, только взглянула — горестно так, пронзительно, и слезы на глаза навернулись. Смотрит и молчит. Я шапку в охапку — и за порог. С тех пор слова лишнего друг другу не сказали. Так-то, солдат. Как тебя звать-то, кстати?

Ветров ответил.

— Ты извини, не знаю я, что ты за человек и что у тебя за думы, но ты эту бабу не обижай. Редкий она человек, счастья только вот нету, да у кого нынче оно есть? — И, спохватившись, словно сказал что-то лишнее, ненужное, Маслов поднялся, хлопнул на прощанье Илью по плечу и, качнувшись, неуверенно пошел к калитке.

За три дня Илья сделал все, что хотел: поправил плетень, парубил и сложил в поленницу обрезки досок, кое-как подлатал крышу. За эти дни и мать и сын привыкли к нему, да и сам Илья, пообжившись, уже не испытывал неловкости, встретившись с любопытной усмешкой соседей. Ему здесь нравилось, он привык к Катерине, особенно к Николке, и тот, едва заметив Илью, бросал все свои занятия, со всех ног бежал навстречу и с радостным повизгиванием подлетал кверху. И уезжать Илье не хотелось. Он — словно бы в шутку — сказал Катерине:

— Хорошо у вас — так и хочется остаться. Ехать-то мне не к кому: стариков схоронил, а жениться не успел.

Она ответила просто:

— Оставайтесь. Селитесь прямо у нас, в комнатке, что за печкой, и живите на здоровье.

Илья замаялся, хотел что-то объяснить. Она покачала головой.

— Не боюсь — пусть говорят. Не перед кем, да и не за что меня чернить. Перед ним чиста, а больше нет мне судьи. — Губы ее чуть дрогнули, но закончила спокойно, решительно: — Живите, мы с Коленькой только рады будем.

Так появился в Колдome Илья Ветров.

Работать Илья устроился на лесопилку — так по старой памяти звали в поселке деревообрабатывающий завод, что прямым углом из двух длинных, похожих на бараки здапий раскинулся на берегу реки Судьбицы. К работе привык быстро — в детстве обращаться с деревом научился, и теперь с утра до вечера стоял Илья около циркульной пилы, разделявая желтые, пахнущие смолой и свежестью доски. Звопким стрекотом заходится пила, вгрызаясь в податливое дерево, и на пол один за другим валятся бруски — грузные, грубоватые заготовки для рам, дверей. Рядом, через проход, всегда заваленный обрезками дерева и опилками, работает Маслов. Это он научил Илью первым хитростям: какую деталь с какого бока ловчее начинать, куда складывать готовые болванки, чтобы в столярке не шумели из-за простоев. Вместе с Масловым ходит Илья на перекур к вкопанной в земле бочке, из которой пахнет затхлостью, вместе обедают в «забегаловке» — когда-то голубой, а теперь непонятно грязного цвета привокзальной столовой, вместе возвращаются по домам после смены.

Маслов — местный, колдомский. После ранения отлеживался в госпитале в Перми, куда снова вернулся после неудачного сватовства и откуда привез дорогую, по-восточному скуластую женщину, которая раза в два была крупнее Веньки по сложению, и с ней — грудного ребенка — девочку.

Местные девки за допущенное к ним пренебрежение Веньку невзлюбили и при случае ехидно прогуливались пасчет подробностей его семейной жизни. Венька на шутки не отвечал — хранил достоинство, но вскоре начали его подъедать и мужики, довольные, что есть повод почесать языки на досуге. Но с мужиками у Веньки разговор бывал короткий. Выслушав шутки, словно бы к нему не относящиеся, он молча лез в карман за куревом и как бы внеарок распахивал ффуйку, под которой всегда блестели или два ордена и пять медалей, или же орденские планки — в зависимости от того, что было падето на Веньке. Поскольку среди колдомских мужиков не было никого, кто отличился бы больше, шутники прикусывали языки и переводили разговор на другое — на погоду, политику, заводские новости, которые Венька обсуждал

охотно и с толком. Правда, как-то раз заводской фельдшер Никандрович усомнился было в Венькином героизме, но высказал сомнение не прямо, а намеком:

— Медали — это еще не все. Был у нас в санбате мужик один — Буценко, сапожником и ездовым числился, так тот одних орденов, наверно, полчемодана насобирает. Когда нас из Румынии отправляли по домам, обмундировки новой никакой не дали — кто в чем был, в том и поехал. Так у Буценки отбою не было от заказчиков — босиком не поедешь, а обутка почти у всех разбитая была. Что угодно давали, лишь бы ее в божеский вид привести. Так он, подлец, сначала плату медалями брал, потом на ордена переключился. Всяко бывает...

Венька принял байку на свой счет, но отмолчался, только на следующий день у столовой, где любили сидеть и судачить колдомские мужики, в газетной витрине поверх желтого, месячной давности «Гудка» появилась небольшая, в четких квадратных изгибах армейская газета «Вперед», где на первой странице рассказывалось о старшем сержанте Маслове, какой он есть герой, а на фотографии лихо торчал из-под сдвинутой ушанки пышный Венькин чуб. Только на жепщии Венькин героизм по-прежнему не действовал, и какая-нибудь разбитная молодка лукаво щурила глаз при встрече:

— Похудел ты что-то, Вениамин Григорьевич. Подика, Мария бока отдавила...

И, дождавшись ответа на приветствие, сочувствовала:

— Укатают Сивку крутые горки, — и прыскала в кулак, подталкивая локтями соседок. Но когда через год Мария принесла двойню, бабы слегка поприкусывали языки, а когда к следующей зиме в избе Масловых заверещали еще двое, на Веньку женщины в Колдоме начали поглядывать с уважением... Но ненадолго.

Как все русские мужики, тем более — фронтовики, Венька выпить не любил и по причине недостаточной комплекции, а также расстроенного войной здоровья пьянел быстро и тогда становился хвастлив, задирист и в хорошей компании потерпим. В такие минуты особенно не жаловал он женщин, был исполнен к ним всяческого презрения, и плохо приходилось собутыльнику, которого жена вдруг задумывала изъять из Венькиного общества. Маслов внимательно слушал супружеский диалог — то бурный, истерично-гневный, то вкрадчивый и мягкий,

и когда замечал, что приятель начинает поддаваться агитации и собирается уходить, громко вздыхал и изрекал свой постоянный афоризм:

— Лучше быть у коня под копытом, чем у бабы под каблуком.

Было в этих словах столько язвительной иронии, что самые смирные, самые покладистые мужики, как говорил Никандрович, «садились на беса», то есть отсылали жен куда подальше, а сами садились рядом с Венькой, демонстрируя свою самостоятельность и независимость. Жены отступали, но вечером, выясняя семейные отношения, все же умудрялись доказать свое превосходство, и в этих баталиях, слышных на всю Колдому, Венька проклинал на все лады. Но брань на нем не висла — и в мужских компаниях он оставался желанным гостем. Было ли это признанием его природного ума, имевшего точные и веские мнения по всем житейским вопросам, или просто боязнь попасть в Венькину немилость и презрение — трудно сказать. Был к тому же в нем природный талант музыканта — без его музыки не могли обходиться ни одна свадьба или крестины в поселке. Зла Венька ни на кого не таил и охотно шел в любую семью, куда приглашали. На торжествах он вел себя почтительно, даже умно. На каждый жизненный случай была заготовлена у него притча или байка, и как опытный рулевой правит лодку среди весеннего половодья, так Маслов руководил весельем и, пока за столом соблюдался чинный порядок, — не брал в рот ни капли хмельного.

Но в каждом веселье есть особая, переломная точка, то есть тот момент, когда каждый начинает веселиться и развлекаться по-своему. Ее Венька звал «сапоги всмятку». На свадьбе, например, перелом начинался, когда запевали «Златые горы». Ладно и дружно подхваченная песня свободно лилась до середины, когда герой забывал «роковую клятву» и, страшась измены, отсылал возлюбленную обратно в дом отца. Всегда находился соображающий, который в этом месте кричал, чтобы запевали другую, но его не слушали, и застолье делилось на два, а то и на три хора, и каждый пел свое. Тут Вене делать больше было нечего, он вспоминал о себе. Аккуратно сняв гармонь, присаживался к столу, вдоволь угощался и когда вновь растягивал мехи, то был уже, как говорится, «готов». Играл только плясовые, и, если гармонь не попевала за

требуемым темпом, он с размаху ломал её через колёно и требовал другую. Эту его слабость знали и к свадьбе всегда припасали ещё одну гармошку. Как только половинки первой вылетали за окно, тотчас подавали другую. Венька об этом тоже знал и из нормы не выходил никогда, тем более что ремонтом занимался сам же, целыми вечерами просиживая за верстаком, склеивая мехи и перебирая планки. Свою хромку он ломал и ремонтировал раз пятнадцать. Хоть с хрипотцой и западаниями, но гармонь все же продолжала лихо и весело звенеть в калечащих и лечащих Венькиных руках.

В день получки Маслов не работал, слонялся по цеху. В первую получку Ильи подошел к нему:

— Ну, сосед, сегодня твой день. Посвящение в рабочий класс, так сказать, проведем, возобновим старую добрую традицию. Положено с тебя...

Илья пожал плечами.

— Положено, значит, положено.— Ловким движением больших пальцев протолкнул сквозь пилу сосновый брусок.

Кассирша пришла после обеда. Длинная гудящая очередь уже жалась вдоль стенки в конторе, впереди, у самого окошечка — Маслов. Он послал гонца за Ильей, а сам рассказывал очередную байку, как ездил сдавать готовую продукцию.

— ...Нехватка на мне так и висит. Приехали — смотрю, залезает в вагон опять тот же завскладом. Попохал, носом повел — пересчитал, все в аккурат — сто пятьдесят комплектов. Проверил по накладной — расписался — а я ему и говорю: извини, мол, забыл написать, что груз я сдал полностью. Пока он чесался, поль я на шестерку исправил и прописью быстрехонько — сто пятьдесят шесть в скобочках поставил. Отдаю ему накладную, а сам анекдот начинаю. Он уши развесил и накладную в карман не читая положил. Ну, думаю, пронесло — ты меня обманул, но и я тебя наколол...

— Эх, Венька, посадят тебя когда-нибудь, — восхищенно донеслось из очереди.

— Ничего, — отсидим не хуже людей, — бойко ответил Маслов.

Еще через полчаса в столовой сдвинуты два стола, и Маслов, хвалясь сноровкой, проворно разливает «белоглазую».

Илья накрыл стакан рукой:

— Извините, ребята, не могу. Посидеть — посижу, раз положено, а пить нельзя — коптузия.

Венька посмотрел вприщур:

— Коли брезгуешь, не надо, не неволим. Только мы к тебе всей душой, поддержать, мол, человека надо, помочь сблизиться с нами, а ты?

И столько обиды было в его голосе, что Илья застыдился.

— Теперь другое дело, — крикнул Венька. — Теперь как родной... Он продолжал балагурить, рассказывая очередной анекдот:

— Умаялся мужик за ночь, спит — ног не чувствует. Вдруг стук в окно: «Хозяин, дрова нужны?»

— Какие, к чертовой матери, дрова, ничего не надо. Просыпается утром, смотрит — обеих полениц нет. Захохотали, и вместе с ними — Илья. Ему вдруг захотелось сделать что-то приятное новым друзьям, такое, чтобы враз поняли — он им не чужой, а свой, близкий человек, товарищ.

— Хороший вы народ, мужики, — сказал Илья, — душевный. Все-таки здорово, что сюда попал...

— А ты сам откуда? — спросил Митрофанов, дежурный по станции, еще один Венькин друг.

— Уральский он, — подмигнул Маслов, — с Нижнего Тагила — это у которых сапоги-то без подошв были...

— Знатный народ, работающий, — согласился Митрофанов. — Я на днях тут прочитал — вагоны новые стали выпускать, целиком железные и дно откидное, чтобы разгружать удобнее... Нам бы таких — для снижения простоя...

— Работать надо, — захохотал Маслов, — а не «ура» кричать. У тебя вон полсостава в тупике простаивает, а ты тут чай гоняешь... Смотри, возьмется за тебя военный трибунал, сейчас как раз такая мода пошла — судить за задержку подвижного состава. Ты, Федор, первый кандидат...

— Не зубоскаль, баламут, без тебя тошно, — отмахнулся Митрофанов. — Занес меня черт в эту глушь... В других местах вон какие дела заворачивают, а тут живешь как в ссылке.

— Ты, Федя, не егози, — остановил его Маслов, — доживем и мы, тоже дела закрутятся. Слышал, что с весны

целый комбинат будут ставить? Большие тыщи людей в землянках живут — жилье надо, а окна, двери, полы откуда? От нас — от вологодцев да архангельцев... Погоди, выправится, может, еще и городом станем...

— Может, и станем, — согласился Митрофанов, — хоть бы перед старостью пожить по-человечески. Вот я перед войной в Москве у свояка жил: квартира на одну семью, паровое отопление, водопровод, даже баня на дому — живи — не хочу. В магазинах все, что душа пожелает, кино в двух шагах... А ведь одноклассники с ним, на одних курсах учились. Моя мать так и сказала — в раю, мол, живешь, Николай, в истинном раю...

— Да, — завздохали со стороны мужики, поддерживая разговор. — Только-только все наладилось вроде, на тебе, напакостил Гитлер...

Теперь говорить начинают все. Вспоминают довоенное житье, сетуют, что карточки в прошлом году намеревались отменить, а и ныне не слышно, и робко надеются, что все обойдется, все выправится. В разгар беседы столовая закрывается — пора по домам.

Из тепла вышли в стужу — слякотную, ветреную, остановились на дощатых скользких мостках, закурили, потом запахнулись кто в шинель, кто в фуфайку и разбрелись, прокладывая тропки через жидкую, отсвечивающую под луной грязь. Где-то рядом желтеют квадратики окон, но света от них нет — дорогу видно с трудом. Илья идет следом за Венькой — попутчики. Неожиданно Маслов останавливается:

— Пошли ко мне — поглядишь хоть, как живу... Не бывал ведь еще...

Илья колеблется, потом соглашается.

Дом у Масловых — сбочь косогора, в четыре окошка по продольной стене. Рассчитан на две семьи, и вход каждой семье — отдельный. В луже помыл Илья сапоги — и за Венькой следом.

— Мария, — гости, — громко предупредил хозяин, — и чуть тише добавил: — Входи, да не пугайся, целое общежитие...

Внутри было тесно и неуютно. Когда-то здесь была одна комната, потом ее перегородили досками, отделили кухню, и получилась квартира. Справа зев русской печки, слева — стол с тремя стульями, а в проеме комнаты — кровати впритык друг к дружке. Пять голов чернеет...

— Это что, все твои? — дивится Илья.

— Который похож, тот мой, — отшучивается Веня, — а тут, как видишь, ни один не похож.

Жена сердито оторвалась от ведра, в котором мыла миски, обтерла руки о подол, поздоровалась. Вроде как приветливо, но с досадой в голосе. Не понял Ветров — то ли на мужнюю шутку озлилась, то ли он — гость не ко времени. Застеснялся.

Веня взял управление в свои руки. Походя смахнул со стула крошки — присаживайся, подмигнул жене. Потом обвел рукой — видишь, хоромы какие. Главное — своя крыша над головой. Протекать, правда, стала. — Он прислушался, и где-то рядом звонко разбилось несколько капель. В таз пока каплет, завтра надо будет залатать.

— У тебя вторую неделю завтра, — буркнула жена, подавая на стол миску с белой, недавнего квашения капустой, — руки просто не туда вставлены...

— Не бранись, — коротко отрезал Маслов, — не твой сейчас разговор.

Жена выложила пару луковиц, краюшку хлеба и четыре вареные картофелины. Потом поколебалась и из груды старых валенок вытащила заткнутую бумажным катышком бутылку.

— Не надо, Веня, — отказался Илья, — ни к чему...

— Пожалуй, и ни к чему, — согласился тот. — Чайку поставь, Мария...

Фыркнул и загудел керогаз. В комнате громко заплакал маленький, и, шушукая на ходу, заторопилась к нему мать.

— Вот оно, счастье, — кивнул головой Веня. — Всю крапиву вокруг дома летом пожрали, весь щавель в затоне выбрали... Может, и счастье, что все выжили? На зиму три мешка картошки накопал — перебьемся, может... Вот потому после смены я домой и не спешу — как увижу все это, что нож в сердце...

— Везде так, — вздохнул Илья.

— То-то и оно, что почти везде. А куда денешься? Народил — корми. Переживем, наверно?

— Переживем, Веня, если на ногах устоим. Сами-то, конечно, устоим, а вот в обнимку с «белой головкой» — вряд ли?

— Ерунда, — крикнул Веня, — русский человек выдюжит. Вот у меня дед был — восьмеро ребятишек на ру-

ках своих, да двое приемных — всех вырастил, а ведь пил. На моей уже памяти — принесет, бывало, полчетверти, поставит на стол: ну, вино, давай поборемся, ты меня али я тебя... Прикончит досуха, потрясет головой — а ведь я тебя одолел, скажет. Походит, побухтит — и на боковую: да и ты, говорит, оказывается, парень, силен. Свернется и храпит до утра. Девяноста трех годов помер, да и то по-дурацки: в бане папарился, с «другом» вновь поборолся, на полати залез, да оттуда и тяпнулся — сразу насмерть. А все оттого, что душевное равновесие в жизни было, оттого и жил долго, и семью вырастил. Ну, правда, мастеровой еще был — плотничал, столярничал, сапожничал — и нас к делу наставлял. Будь у меня в ту пору ум — научись я ремеслу, тоже бы жить легче было. А так — одни невзгоды на душе, пасмурно...

Он задумался, помолчал, потом бесшабашно махнул рукой:

— Ладно, образуется, будет когда-нибудь просвет. Ты давай обживайся здесь, да бабу толковую ищи — это, брат, великое дело, бабу толковую найти — как у Христа за пазухой жизнь будет. Пускай корень, а потом мы с тобой дела закрутим, верно, Мария? — громко спросил он жену.

— Не ори,— оборвала его Мария,— ребятишки спят.

— Молчу,— покорно согласился Венька,— я только воп про Илью — мужик он хороший. Женить бы его здесь, а, Мария? Поищи-ка ему невесту...

— Это уж сам пусть выбирает, со стороны трудно смотреть...

— Верно, верно,— заторопился перевести разговор Илья,— советовать в этих делах тяжело.

— А чего советовать,— удивился Венька, бери Катерину и не думай. Пойдем вместе, тут же сосватаю...

— Не дело говоришь,— оборвал разговор Илья и заторопился.— Завтра я к тебе загляну, помогу крышу подремонтировать.

— Сам сделаю, а на добром слове спасибо,— ответил Маслов и протянул на прощание руку.— Корешковать теперь будем, держи.

Так и расстались, полюбовно.

Время около полуночи, но Катерине не спится. Лежит, свернувшись клубочком, обе руки под правой щекой, и отрывками возникают в голове мысли.

«В первый раз так задержался. Может, во вторую оставили — бывает, просят задержаться, когда сменщика нет...»

«Вале завтра не забыть, чтобы кисти после смены в воду ставила. Бросит где попало, а потом мучайся, разминай их...»

«Из-за последней партии скандал вышел, да и поделом: сколько раз мастеру говорили, что склад надо перекрывать — дотянули до дождей...»

Перевернулась, поежилась — что-то бок затек. Посмотрела на руки, вздохнула — новую морилку стали из торфа делать, не отмывается, так чернота в кожу и въелась.

«Как он по такой грязи сейчас пойдет? Обутка-то неважная — кирза старая, да и правый сапог весь в латках. Поговорить бы с Захаровной, может, достанет к зиме валенки?»

В сенях осторожно завозились, отыскивая в темноте дверь. Катерина поднялась, откинула щеколду. Вошел Илья, прищурился на свет.

— Ну и заливает, даже шинель пробило, — и на цыпочках к вешалке. С кряхтением стягивает сапоги, упершись для удобства в стену. — Извини, Катя, что поздно так, — у Веньки был, заболтались.

— Ничего, — отзывается Катерина, — чайник в печи еще горячий, наверное, — пей...

— Спасибо... Может, за компанию выпьешь чашечку? — Илья поднял глаза, хотел еще что-то добавить, но удержался.

Катерина накинула платок, присела с краешка.

— Ты уж извини, первая получка, так пришлось ребят угостить...

— Дело житейское, — ответила негромко, сняла платок, развернула его по ширине — теплее, вспомнила невольно о себе. — «А вот Леша в рот не брал, и когда на фронт уходил не притронулся. Только в последнюю ночь курил много — до сих пор в буфете четыре штуки в серой пачке лежат...».

— Эх, люблю водичкой побаловаться, — услышала шутливый голос, — чай не пьешь, откуда сила?

Вздрогнула, подняла ресницы. Дымчатая струйка бежала в чашку, запахло смородиновым листом. Прикусив кусочек фруктового, похожего на слежавшийся снег са-

хару, Катерина осторожно глотнула терпкую жидкость.

Несколько глотков сделал и Илья, потом заговорил о дне прошедшем. Мелкие, обычные новости. Вспомнил Венькиных ребятишек — пожалел — в трудное время растут, хотя у людей на роду все времена трудные. Говорит Илья — смотрит на него Катерина — со вниманием смотрит, жалостливо. Решился он тогда — сжал ладони вперехлест:

— Спросить тебя хочу, Катя: привык я к вам обоим, словно с детства вместе живу. Выходи за меня, а? Не бойся, не обижу, и Николку как родного...

Покачала головой:

— Не боюсь...

— Выращу парня, как могу, и от Лешки его собой не закрою — вырастет — сам все расскажу...

— Не надо, Илья. Потом когда-нибудь...

Сник, понурился:

— А что потом?

— Не надо загадывать... Может, еще Леша вернется. — Она хотела по привычке всплакнуть, но почувствовала, что слез нет, напугалась, подумала про себя: «Что это? Неужели забывать стала?..»

— Да если б хоть крошка надежды была, сам бы ждал день и ночь... — Загорячился, но Катерина остановила его:

— Давай спать, утром все иначе...

Разошлись по постелям, но заснули не сразу. Илья думал привычное, что не раз уже приходило в голову на этом жестком топчане... Думал, что надо будет перво-наперво нижние венцы у дома подрубить, а потом, если тес найдется, и опустить можно — потеплее, и еще думал, что должно у них с Катериной все решиться — потому как порознь им уже не житье...

Так незаметно он и уснул, а у нее думы сложнее... Не будь воспоминаний, конечно бы, согласилась, пошла — хороший, душевный человек Илья, но острой, жалостливой болью помнится Алеша — первая и светлая любовь, обещание счастья — и тихо сочатся из глаз слезы, скорбь по несбывшимся надеждам...

Утром Илья проснулся поздно. Бегло взглянул на выстиранные и просушенные портянки, покраснел, потом, пряча глаза в сторону, глухо извинился за вчерашнее.

Она понимающе опустила ресницы — потом неловко подала сверток: кусочек желтого, с розовыми прожилками сала, горбушка хлеба, три картофелины, бутылка молока — обед. И громко так — неожиданно:

— Сходила я тут к одной знакомой, валенки тебе достанет на зиму...

Илья поблагодарил, хотел подать деньги, но замялся — не время. Так и ушли на работу, ни о чем больше не говорили.

Перед Новым годом они поженились. Все было просто и тихо. Расписались в поселковой конторе. Вернувшись домой, переставили обстановку в комнатах и зажили единой семьей. Забот у Ильи прибавилось. Правда, по хозяйству он помогал и раньше, когда постояльцем был, но тогда чувствовал себя посвободнее, мог на работе задержаться подольше, мог в гостях за картами засидеться, на рыбалку с мужиками податься на весь выходной с ночевкой — да мало ли куда может тратить время холостяк? Дело его — хочет лежит, хочет гуляет. Теперь же безделья Илья себе позволить не мог. Семейная хватка появилась, начал обдумывать, как бы ему дом опустить, обшить сверху донизу тесом, насчет мебели стал интересоваться, шифоньером с зеркалом, комодом.

С Катериной жить начали хорошо — оставалось между ними первоначальное уважение друг к другу, а еще было у них общее прошлое, от которого нельзя было отказаться или забыть.

В первую же ночь после женитьбы — бессонную и неловкую, Илья говорил с Алексеем, чей портрет висел между окнами — большой деревянный портрет молодого и красивого парня, почти совсем не похожего на того, кого знал Илья. Похож был только подбородок — резко очерченный, волевой, единый — без ямочки посередине, что, по народной примете, сулит любовь и супружескую верность до конца.

— «Вот так, друг. Жить надо... За сына не беспокойся — он наш, твой и мой, вырастет твоим корнем, твоим продолжением. Себя не пощажу, а его уберегу — от любой напасти уберегу», — говорил Илья про себя, и говорил так, как никогда не говорят вслух. Он думал долго — тупой болью заныла душа, сдавила сердце печаль о тех многих,

с кем доводилось ему встречаться на фронтовых дорогах и кто давно уже был прахом земным. Он жалел всех — тяжелая, настоявшаяся слеза протекла по щеке, за ней еще одна и еще... Чтобы отвлечься, немного ослабить боль в душе, Илья принялся считать вслух: семь... двадцать... а память вспышками выхватывала из прошлого лица друзей, голос Алексея, и терпко пах татарник...

По дому Илья помогал во всем — это быстро заметили в округе, заперешептывались. Непривычно здесь было, чтоб мужик вдруг какой-нибудь женской работой занимался, вроде стирки или мытья полов. Илье об этом сказал Маслов, когда застал его с закатанными под колено брюками, с половой тряпкой.

— А Катерина где? — удивился Венька.

— Стирала сегодня, так к Митрофановым пошла, передохнуть, — объяснил Илья. — Услал, чтобы не мешала.

— Чудное дело, — хмыкнул Венька. — Откуда, думаю, у моей новая мода завелась — с утра до вечера одну арию поет: тут помоги, там подсоби, то сделай, то подай — умучилась, видишь ли, она...

— Пятерых смастерил, так помогай, — засмеялся Илья. — Одной ей, конечно, тяжело...

— А как же наши бабки по восемь — десять человек выхаживали, в поле работали и дома все делать успевали, а? — взвился Маслов. — Мужиков с пеленками, чай, возиться не заставляли, не то время было. Это сейчас — равноправие. А я так полагаю: мужику дан топор, а бабе — квашня, и смешивать это не к чему.

— Ох и злой ты сегодня, Венька, — качнул головой Илья. — Жене своей помочь, время коли позволяет, зазорного ничего нету.

— Для ихнего брата хоть в лепешку расшибись — все одно не оценят, понятие не то. Чего вот глупая баба с утра взъелась? Половицы, видишь ли, мешают, скрипят очень. Где бы отдохнуть — тут весь выходной в грязи провозишься...

— погоди, приду — обмозгуем, — примирительно сказал Илья. — Я как-то занимался этим делом.

Венька, посвистывая, пошел со двора, а Илья наскоро выбрал остатки воды, протер еще раз насухо и засобирался на подмогу. Вернулась Катерина — на вид немного усталая, но веселая, живая. Спросила — далеко ли? — попросила долго не задерживаться, надо еще засветло на

реку съездить, выполоскать выстиранное. Илья пообещался часа через два и ушел. Катерина достала чистые половики, настелила по горнице свежие, наполнившие дом уютom пеструшки, сменила скатерть на столе, занавески в окнах. Посидела, подумала — чего зря время терять? Выволокла из сеней санки, погрузила обе корзины — и на реку.

Вокруг проруби было тесновато. Катерина приткнулась с краю, вывалила белье на лед — зашлепала рубахой по воде. Сначала руки обожгло словно кипятком, потом притерпелось. Так-то оно ничего, только вот когда выжимать — мерзнут наверху тыльные стороны. Так и хочется варежки натянуть, обогреть руки — но тогда пропащее дело. Дополоскать сил не хватит, лучше уж в воде отогреть.

Не успела первую корзину закончить — Илья подоспел. Перекурил, потом потянул санки обратно домой — пока Катерина остатки полощет, решил, что сумеет развесить все на просушку. Пока доехал — верхние рубахи схватило морозцем, и пришлось повозиться, пристегивая к веревке толстую, негнущуюся ткань. Неожиданно из стены выскочил гвоздь — белье упало в снег, пришлось все переделывать. Только закончил — слышит, снег скрипит. Оглянулся — Катерина. Заругался было — подождала бы, чем такую тяжесть на руках тащить, а она в ответ лишь слабо отмахнулась:

— Завтра поутру сделаю... Не могу сегодня... — а по лицу застывшие полосы от слез.

Накрыл руками багровые щеки — середина ледяная, а вверху, под платком, жаром палит:

— Заболела?

Тихо покачала головой в ответ:

— Нет, не с чего вроде, — прошла в избу.

Разделась, поуспокоилась немного, заговорила:

— В Залесье беда случилась. Нюра Антонова — продавщица тамошняя, утопилась — мужики с баграми искать приходили. На мужа ей похоронка еще в сорок третьем пришла, она и вышла по второму разу. На одной неделе с нами расписывалась. Мужа-то у ней Костей звали, а этот — второй, Леня, тоже из ихней деревни. Только он с детства инвалид — ногу ему лошадью придавило, она и усохла. Он за Нюркой еще в школе пробовал ухаживать, да без пользы все. А как похоронка пришла, сно-

ва, видно, занадеялся. Мужик-то хороший — тихий такой, покорный, ласковый. Дождался своего — поженились они. Бабы еще смеялись — весь декабрь вдовий: пар пять, наверно, таких тогда расписалось. Жить вроде хорошо они начали — а сегодня днем Костя взял и явился. Он контужен был, потом в плену мыкался и вернулся. Рассказывали, прошел прямо домой, поздоровался с нею, с Леной, за стол вместе сели, Нюра огурчиков принесла, потом вышла за деревню — и в прорубь. Господи, ужас какой.

Илья не знал, что сказать, молчал, положив жене руку на плечи. Потом засобирали было ужин — но Катерина к столу не пошла.

— Лягу лучше — знобит меня что-то...

Около полуночи у нее начался бред. Металась по кровати растрепанная, вскрикивала, звала, вытянув руки:

— Леша, Лешенька... Прости, что я при тебе живом тебя забыла... — и с ненавистью отталкивала Илью.

— Оставь, оставь нас, уйди!.. Это ты, ты во всем виноват. — Потом стихла, враз обессилев, и лишь изредка выкрикивала что-то несвязное. Илья сидел рядом, руками студил щеки, поправлял одеяло, давал в кружке сладкий, крепкий до черноты чай. К утру температура спала, вернулось сознание. Илья сбегал, привел Никандровича — сухонького старичка из заводской амбулатории.

Тот долго осматривал больную, многозначительно кивая головой, определил воспаление легких и нервное потрясение. Прописал покой, усиленное питание, заполнил рецепты на лекарство.

— Пенициллин бы нужен, да где его возьмешь сейчас?

— Найду, — твердо сказал Илья, — только выпиши. — И, забрав рецепты, начал поспешно собираться. Сходил к Макаровне, матери Митрофанова, попросил посидеть до вечера, приглянуть за больной и за Николкой, а сам поехал в область.

Вернулся на другой день — замерзший, в одном пиджачке, но привез все, что требовалось. Пришлось продать полушубок, чтобы обратно выбраться. Никандрович тут же сделал укол, успокоил: выправится. Через недельку-две здорова будет, дело молодое.

Выправилась. Уже на третьи сутки появился аппетит, утихли хрипы при дыхании, уменьшилась температура. Виновато посмотрела на Илью, несмело улыбнулась:

— Теперь выживу, наверно? Две ночи словно душил кто-то, одни кошмары виделись... Ты не серчай — очень плохо было, — и рывком прижала к щеке протянутую руку. — Не сердись... Помолчала, потом кивнула головой на стену:

— Там...

— Что там? — не понял Илья.

— Лешу пока уברי — в комод спрячь. Не надо, чтобы смотрел. Теперь нам жить — а как гляну на него, давит сердце — вот-вот что-то нехорошее случится. Убри...

Илья промолчал. Тихо отошел к окну, глянул поверх стылых узоров. Тихо кружась, падали снежинки, обещая потепление. Потом подошел к жене, поправил под головой подушку, подоткнул одеяло: спи... Катерина покорно закрыла глаза, приткнувшись головой к холодящим прутьям. Наскоро задремал Ветров, успокоенный и непомерно уставший за все эти дни.

3

Падал и снова таял снег, чередой менялись зимы и весны, один за другим шли годы.

Завтра Николке в школу. Он сидит за столом, еще раз перебирая портфель — все ли готово к занятиям: пенал с карандашами, азбука, букварь, тетради. Рядом крутится трехгодовалый братишка Лешка, норовя стащить что-нибудь для себя.

— Мама, у меня чернильницы нету! — испуганно кричит Николка. — Ты обещала купить непроливашку, а не купила...

Мать выглядывает из-за печки, где она моет голову:

— Вы сначала карандашом писать будете, а чернильницу отец из командировки привезет. — Николка успокаивается. Он сам знает, что чернильница пока не нужна, но на всякий случай надо побеспокоиться. Тщательно запирает портфель и ставит его рядом со стулом, на котором висит новый — в серую полоску — костюм, тоже к школе. Лешка внимательно следит за братом, сунув в рот палец, ему завидно.

Кто-то громко стучит в дверь — Николка с Лешкой вперегонки устремляются к порогу, но в комнату уже входит старая Макаровна.

— Что, Катя, сам-то не приехал еще? — громко спрашивает она и проходит к столу.

— Завтра, должно быть, — отзывается Катерина, расчесывая мокрые, враз ставшие жиденькими волосы. — Говорил, на четыре дня, а сегодня третий еще. Не жилось спокойно, выучился на шофера — мотайся теперь...

— Сахару просили, так Федор привез, — вот, три килограмма. — Макаровна выкладывает на столешницу два больших кулька и две ровненькие пачки в синей бумаге. Потом весело подмигивает Николке и сует им с Лешкой по шоколадному прянику. Лешка тут же начинает мусолить подарок, а Николка аккуратно прячет его в портфель — в школу возьмет.

— Спасибо большое. — Катерина заходит в горницу и убирает свертки в буфет. — Второй месяц на конфетах живем — накладно очень...

— Только деньгам перевод, — соглашается Макаровна. — Федору в этот раз больно много наказали — два мешка из вагона вытащил... Я поначалу ахнула, где, думаю, денег столько взял, — а как посмотрела — домой сверточков пять всего и принес, остальное прямо на перроне роздал. Илья просил килограммов шесть привезти, да не получилось в этот раз. После как-нибудь...

С продуктами в Колдومه было туго, и, изловчившись, мужики начали ездить отовариваться в Москву. Ездили больше железнодорожники — движенцы, связисты — им дважды в год билеты бесплатные положено. Ездили, конечно, и другие — но редко: дорога дороговата. Многие уезжали тихо — поселок большой, заказов много, а на всех все равно не напасешься. За это на них особенно не сердились — понимали, что даже одной семье про запас набрать — пуда два надо: и масла, и сахару, и мяса, и тушенки, — а ведь все найти надо, да с ношей по Москве таскаться. Поэтому просили об одолжении неопределенно — что привезут, на том и спасибо. Митрофанов был один из немногих, кто никогда не отказывал в просьбах и ездил не таясь.

— Так уж, извини, Катя, вот сдача, — и Макаровна протягивает аккуратно сложенные бумажки и мелочь.

— Хорошо, хорошо, — чего-то смущается Катерина. — Спасибо, что поддержали. А завтра Илья приедет — я напому о машине.

— Ладно, милая, ладно, промахнулись мы тоже в

этот год,— вздыхает Макаровна,— не запаслись дровами. Правда, шпал списанных дали неплохих — сухие, крепкие, увезти бы только поскорее, все заботой меньше...

— Как приедет — сразу скажу,— заверяет Катерина,— поможет привезти. Завтра с утра Николку в школу отведу и зайду в гараж...

Макаровна стучает по лбу ладошкой:

— Забыла ведь я,— из памяти просто выкинуло. В школу ведь Николке... Буквы-то хоть знаешь, кавалер?

— Знаю,— кивает Николка и с готовностью достает из портфеля разрезанную азбуку. Раскладывает ее по столу, вытаскивает из кармашков нужные буквы.— Вот — БА-БУШ-КА МИТРО,— он замешкался, отыскивая пузатую, похожую на крендель букву Ф,— и радостно закончил: — МИТРОФАНОВА.

Бабка пристально вглядывается: верно...

Подоспевший Лешка внимательно разглядывает ровный ряд белых квадратиков и, улучив момент, ловко смахивает их на пол.

— Да стукни ты ему хорошецко, пусть не озорничает,— сердится Катерина.

— Нельзя,— отвечает Николка.— Он ведь маленький еще, не понимает.

— Гляди, какой рассудительный,— умиляется Макаровна,— жалеет братка. А столько ведь доставалось, пока нянчился. Забыл, поди?

Катерина спохватывается — давайте чай пить.

В шесть рук собрали на стол чашки, блюдца, баранки, сахар, расселись кружком. Самовар стоял в центре и легонько журчал, словно тоже рассказывал что-то. Главным героем всех воспоминаний был Николка.

— Несусь домой прямо по лужам, думаю, закричится у меня парень,— весело щурится мать.— Столько ведь времени некормленный. Открываю дверь — батюшки светы! Зыбка на полу опрокинутая, все хозяйство вывалилось, а оба брательника лежат голова к голове и спят. Я этого на руки хватаю — он как клещ вцепился и сосет захлеб, а Николка глазами заплаканными смотрит и жалостно так говорит: «Я его качал-качал, а он кличит. Я его сильно качал, он кличит. Потом люлька упала, он больше не стал кличать, хотел положить облатно, да он уснул...» А где там — положить обратно, сам в половину кровати...

Лешка, застыв с баранкой в кулачке, удивленно пялит глаза — чего это про него говорят?

— Верно, ведь долго он у вас все буквы не выговаривал, — говорит Макаровна и лукаво спрашивает: — Скажи, Николка, «рыба». — Николка хитро заводит глаза: — Селедка. — Снова смех, и всем хорошо, весело, не заметили даже, что ночь началась.

Утром Николка проснулся всех раньше, наскоро оделся и побежал в школу. Его одноклассники уже кончили первый класс, но Николку в прошлую осень учиться не взяли — день рождения у него был в октябре. Школа была закрыта — Николка подергал дверь и чуть не заплакал — вдруг опять не возьмут? Но заглянул в окна, успокоился — еще никто не пришел: рано.

Походил Николка вокруг школы, потом зашел в парк на станцию, сел на скамеечку, отдыхает. Рядом — голуби гуляют, сизые, переливчатые, ходят по траве и зернышки ищут. Вспомнил Николка, что у него булка в портфеле, мать на завтрак положила, и пряник есть. Стал потихонечку кусочки отщипывать и птицам бросать. Тут еще голуби подлетели — толкаются, клюют крошки, а между ними — откуда ни возмись — стайка воробьев. Чирикают, суется — пока голубь примеряется, как бы ему крошку ухватить, — ее уже нет, какой-нибудь воробей утащил. Стал Николка кусочки на выбор бросать. Был там один голубь с больной ногой — трех пальцев на ней не было. Николка ему все подкидывал, да редко удавалось — разбойники-воробьи прямо из-под носу тащат. Даже на лету крошки стали перехватывать: подкинут ее клювом, чтоб не упала, и тут же схватят. Осердился Николка — стал воробьев прогонять, да только не получилось ничего. Бросил тогда в сердцах остатки булки — нате, делите! — стряхнул крошки с костюмчика и к школе пошел. А там уже праздник начался: ребята все с цветами, стоят в строю и слушают, что директор говорит. Посмотрел Николка — заметил Таню Маслову — и рядом с ней встал. Спросил для порядка шепотом — здесь ли первый «Б», и приготовился слушать.

Но директор больше не говорил. Учительница велела всем взяться за руки и парами повела в класс. Там рассадила по партам — Николке с Таней досталась третья парта рядом с окном. Николка обрадовался — и тут же разложил все, что было в портфеле.

В школе Николке понравилось. На первом уроке говорили, что надо носить в школу — тетради, карандаши и букварь. Николка посмотрел — есть ли у него, подумал, что лучше носить все: и арифметику, и русский язык. Потом была перемена — хотелось поиграть в прятки — все знакомые ребята были в сборе, но Николка постеснялся — школа, и чинно сидел за партой.

Показывали, как надо писать палочки, а потом учительница читала сказки. Только прозвенел звонок и их отпустили домой, как подъехал на машине Илья. Распахнул дверцу — пригласил всех ребят:

— Садитесь, именники, в кузов — покатаю...

Вперегонки вскарабкались через борта, расселись на скамейки и поехали далеко-далеко за поселок, аж до самой Медвежьей запани, куда взрослые за грибами ходят. Потом вернулись обратно к школе. Остановился Илья, смеется:

— Вот вам подарок на первое сентября. Завтра в обед подъеду, снова прокачу.

Об этом обещании Николка на следующий день рассказал всем знакомым ребятам, и после уроков домой они не пошли, а стали ждать. Ждали до тех пор, пока не прозвенел звонок на вторую смену, потом обругали, подразнили Николку и разошлись по домам. А Николка ждал... Он отошел на скамеечку под акациями, сел и заплакал. Было очень обидно — за отца, за себя, за то, что обманул ребят.

Потом вокруг сделался туман, полегчало — и Николка заснул. Разбудил его знакомый голос — это Илья нес его на руках и разговаривал с Таней.

— Ты извини, брат, — печально сказал Илья, заметив, что Николка открыл глаза. — Начальник меня заругал, что я ребятишек на бортовой машине катаю. Долго ли до беды — вдруг кто вывалится...

— Нет, — затряс головой Николка. — Мы тихо-тихо сидим...

— Нельзя, не разрешают. В кабине могу прокатить тебя с Таней...

— Не надо... в кабине, — отказался Николка и слез с рук. Ему стало еще горше и обиднее.

— Ты не бойся, я им скажу, что нельзя было, — они не будут сердиться, — пыталась успокоить его Таня, но

Николка ничего не ответил, только хлюпнул тихонечко носом.

Все обошлось само собой. Про случай этот никто и не вспомнил, потому как у Петьки Митрофанова, который учился уже в четвертом классе, появилась вдруг тайна...

Тайна эта в старом деревянном пакгаузе, что стоит за канавой около светофора. Здесь штаб организованного Петькой партизанского отряда, и Николка в отряде — главный разведчик. Входить в штаб разрешается только со стороны рощи, тайком, чтобы не выследил враг. Ползком до поваленного забора, потом через лаз под бревнами в небольшую и скрипучую дверцу, за которой сухой, темный закуток — штаб. Здесь рассказывают сказки и разные истории, строят планы, обсуждают, что и где надо сделать. Николка притащил из дому старый фонарь, и теперь в штабе светло — впору в лото играть. Фонарь, правда, без стекла, но горит хорошо, а керосин для него приносят по очереди. В штаб Николка приходит охотнее, чем в школу. В школе целыми днями заставляют писать разные палочки, кружочки, а отметок не ставят — неудобно даже, дядя Веня как встретится, всегда спрашивает, много ли Николка двоек нахватал? А чего спрашивает? Ихней Таньке тоже отметок не ставят, хотя она и пишет каждый раз на три строчки палочек больше, чем задают. А Николке эти палочки и закорючки давно надоели. Он уже букварь почти весь сам прочитал...

Кажется, было все это давным-давно, даже в другом царстве — пакгауз, штаб, игра разведчиков... Николка лежит на печи, укрывшись старым лохматым тулупом, и от воспоминаний щемит сердце.

...Недолго пришлось им играть. В одну из ночей пакгауз сгорел, и весь отряд в тот же день увезли в милицию, прямо с уроков забрали. Поговорили, расспросили, кто первый предложил устроить штаб под пакгаузом, кто принес фонарь — все записали, потом сказали, что будет суд, и отпустили домой.

Суда Николка боялся. Каждый раз, когда в поселке появлялась «раковая шейка» — синяя милицейская машина с красной полосой на боку, Николка убегал на чердак прятаться и не выходил оттуда, пока машина не уезжала. В школе тоже сидел беспокойно: постоянно смотрел в окошко — не идут ли забирать его в суд — в тюрьму?

На самом же деле в суде оказалось совсем нестрашно.

Сидели там три женщины и по очереди спрашивали о том же, о чем спрашивали в милиции: кто ходил в «штаб», зачем Николка принес фонарь? Были еще там два дядьки: один, толстый, говорил, что в складе было одно ненужное барахло, которое спишут, а другой, длинный, все почесывал большой, загнутый как у коршуна нос и рассуждал о каких-то огромных убытках.

Их тогда оштрафовали по двести рублей. Но недавно пришла новая бумага, которая вызывала Илью в город, — его-то возвращения и ждет Николка, забравшись на печь.

Глухо прогудел паровоз.

— Товарняк, — подумал Николка, — пассажирскому рано, еще десяти часов не било, — и закрывает глаза.

Под тулуном тепло, уютно, и вспоминаются все события в жизни.

— Переехать бы тоже в новый дом, как дядя Веня, — мечтает Николка. — У них и сарайка во дворе есть, а в доме две комнаты и еще кладовка. Дядя Веня сначала на новоселье ходил с гармошкой и плясал — все сидели на полу, на газетах, и тарелки стояли тоже на полу, а он ходил и плясал, а потом пошел в кладовку спать. Дядя Веня хороший. Когда пакгауз сгорел, он один пожалел Николку — а все остальные ходили злые и прямо при Николке советовали отцу, чтобы он спустил с Николки семь шкур. Но отец тоже добрый, только странный. То играет с Николкой до самой ночи, сказки рассказывает, а то молчит целыми днями — слова не говорит. Только смотрит. Никогда не сердится и не ругается, а все равно страшно, когда вот так молча смотрит. Мать — та хоть и ругается и бранится, а не страшно. Надо только вовремя спрятаться, чтобы из нее злость вышла, — тогда добрая делается.

А вообще в поселке все хорошие. Когда дядя Веня переехал — две недели у него в доме мужики вечерами работали, помогали мебель делать, стены оклеивали...

Становится жарко. Николка раскутывается — свежий холодный воздух так и ударяет в нос, кружит голову. Николка зевает, трет глаза. На ладонке — фиолетовые линии. Это позавчера ночью, когда мать посылала его в очередь за мукой стоять, какой-то дядька химическим карандашом номер написал. Всей очереди номера писал — и Николке тоже — шестьсот сорок четыре. А Николка сжал кулачок, чтобы номер не стерся, а потом, уже почти

утром, задремал, стал за мокрый забор держаться, номер и смазался. Как он тогда напугался!.. Сначала тихонечко заплакал, потом догадался, сбегал домой, взял химический карандаш, снова написал номер — и все боялся, что непохоже написал, что из очереди выгонят. Когда стали муку давать, все зашумели, затолкались — народу сразу много стало, Николку пустили-таки в свою очередь. Номер посмотрели — и пустили. Три пакета дали — на него, на мать и на Лешку тоже. Если бы сегодня Илья не уехал в город — мать испекла бы пирогов. С капустой, с картошкой и с селедкой — самых любимых... Эх, да, — тяжело вздыхает Николка.

В дверь стучатся — и заходит тетя Маша — жена дяди Вени. Ее Николка почему-то не любит. Наверно, потому, что она со всеми хохочет, а на дядю Веню ругается. Из-за каждого пустяка ругается, а тот только сопит и оправдывается...

Сейчас они опять вместе с матерью начнут про пакугауз вспоминать и охать — эх, лучше бы совсем на свете не жить!

Николка прислушивается к разговору, потом залезает обратно под тулуп и потихонечку дремлет.

Просыпается он неожиданно — приснилось, что Илья за ним по полю гонится и что-то страшное обещает. Смотрит — действительно отец дома. Хотел Николка с лежанки спрыгнуть, да вовремя вспомнил, что он понарошку спит. Притих, свернулся калачиком, а сам в щелку из тулупа подглядывает — что в доме делается.

Илья сидит за столом молча, обхватив голову руками. Он в пальто и грязных, обляпанных по самое голенище сапогах. Раньше он никогда не заходил в избу в сапогах. Мать с полотенцем стоит рядом — ждет, что же скажет Илья, а он сидит и все молчит. Николка пугается — а вдруг еще заметит сейчас на клеенке пролитое чернильное пятнышко? Пятнышко, правда, небольшое, его Николка отскоблил мылом и щеткой, но след все равно остался — белая такая полоска. Но Илья пятна не замечает. Он поднимает голову и глухо говорит матери:

— Так-то, Катя. Двенадцать тысяч за ущерб платить...

Мать вскрикивает и, подбежав к печке, сдергивает тулуп:

— А ну, слазь, пащенок проклятый...

Николка испуганно закрывает глаза и громко сопит. Илья тоже подходит к печи, берет мать за плечо.

— Оставь, Катя, не пугай парнишку. Этим дело не поправишь.

— Уродился ирод на мою голову,— заходится слезами мать и прячет лицо в полотенце, а Николка тем временем незаметно снова натягивает тулуп на себя. Он прислушивается, как Илья, покряхтывая, стаскивает сапоги, потом вместе с матерью уходят за перегородку.

Уже поздно, и белая луна краешком косится в окошко, подглядывает, спит ли Николка. Но Николке не спится. Он думает.

Двенадцать тысяч — это много или мало? У него есть только пятерка, которую дал на день рождения Илья, и еще рубль, который вчера мать дала в школу, а Николка его не истратил. Жалко, что лето кончилось. Летом бы можно попроситься в колхоз полоть грядки. Другие ребята пололи и по пятьдесят рублей заработали. Но пятидесяти тоже, наверно, мало.

Николка вздыхает и жметя. Завтра рано утром Илья уйдет на работу, и тогда мать выпорет Николку. За двенадцать тысяч обязательно выпорет. Лучше бы она сегодня его побила, чем завтра зареванному в школу идти. Он еще раз глядит на луну и засыпает — по-настоящему, крепко.

А отцу с матерью не до сна. Лежат, думают, как теперь жить, как с неожиданным долгом рассчитаться. Невеселые, печальные думы — да что делать, надо как-то жить дальше...

Около гаража перед началом работы Илью окликнул Маслов.

— Мне тут Митрофанов сказал, что взгрели вас вчера крепко...

— Не поминай лучше, без того тошно... Катерина на больничном сейчас, на одну зарплату перебиваемся, а тут, как на грех... Где тонко, там и рвется.

— Ты погоди тужить... Есть тут одна хорошая мысль. Ты на болоте был за клюквой?

— Бывал,— недоуменно дернул плечами Илья.

— Давай в выходной махнем туда, думаю, что пуда по три за день наберем...

— К чему только,— в толк не возьму,— смутился Илья.

— Да в Москву бы съездили: сказывают, там клюкву по два с полтиной за стакан нарасхват берут. По паре мешков возьмем — тысяча чистыми останется. Федор базары знает, человек бывалый. А повезет — можно будет еще наведаться.

Илья согласился, и в ближайшее воскресенье подались они на дальнее болото, что начиналось за Медвежьей запанью и тянулось километров на пятьдесят. Зеленое, мшистое, славилось оно неисчислимыми клюквенными запасами, тем, что пудовую корзину здесь можно было набрать, почти не сходя с места. Машину оставили на развилке — укрыли в чахлом березняке в полутора километрах от болота, и по торфяной, мокрой тропинке пошли до места. Болото — это редкие кустики можжевельника, стелющиеся, густо опушенные сосенки, высокие пучки осоки и кочки — пышные, буро-зеленые, усыпанные отборной, вишнево-красной, как капельки смерзшейся крови, клюквой.

Митрофанов — мужик хозяйственный: у него совок с зубьями, знай причесывай мох да ссыпай добычу в мешок. Клюква — ягода крепкая, не давится. Илья с Венькой в картузы собирают. Очешут горстью бугорков и ссыпают в картуз, а оттуда в мешок. Подается плохо. К обеду митрофановский мешок уже под завязочку, а у них на двоих половина. Помог Федор друзьям — к вечеру справились и они: стаканов по четыреста взяли на брата. Для первого раза хватит — проверить надо, как покупать будут. Долго откладывать — себе во вред. К следующему выходному сговорились ехать. Митрофанов — тот после ночной смены как раз, уговорился с напарником подменить, если вдруг замешкается, не вернется к сроку, а Венька с Ильей на всякий случай по дню за свой счет взяли.

Поехали в плацкартном вагоне — в одном купе удалось поместиться. Соседей — двое: старик с седой окладистой бородой и с ним мальчонка лет пяти.

Распихали мешки свои под лавками, расселись, знакомиться начали.

— Куда едешь, мальчик? — завел разговор Маслов.

— К деду Ваське.

— А где дед Васька?

— Рядом сидит,— бойко ответил паренек и потянулся к черным, с зеленым кантом погонам на митрофановских плечах.

— Внучонка к себе везу,— мягким говором объяснил старик,— пускай подкормится, а то тощий больно...

— Хорошее дело, дед,— отозвался Маслов. Он очень уважал бородатых стариков за их умный и независимый вид. В часы досуга он нередко бывал мыслителем, и тогда его интересовали разные странности человеческой жизни. Вот и сейчас его потянуло на беседу, но перебил чей-то звонкий, уверенный голос:

— А вот кефир: холодный как лед, сладкий, как мед. Мужчинам — полезно, женщинам — приятно.

Шустрый буфетчик в белой куртке торговал на вынос и остановился рядом в проходе.

— Прошу,— предложил он Маслову.— Парочку бутылочек для освежения умственных способностей.

Венька задумался:

— Это хорошо, да поосновательнее бы чего.

— Ресторан через три вагона, имеется все необходимое. Поспешите, пока не закрыли.— И буфетчик деловито пошагал дальше.

— Пойдем,— переглянулся Маслов с друзьями.— Не люблю, не поев, ложиться — цыганы снятся...

Согласились, пошли. Недолго покопались из приличия в меню выбирая, какие два блюда из трех предложенных взять. Маслов замешкался, посмотрел исподлобья:

— Может, для аппетита понемногу? Желудок у меня пищу из столовых плохо воспринимает...

Отказались. Венька заказал для себя триста граммов портвейна, и когда пришла пора возвращаться в купе, он был готов к подвигам.

Проснулись перед Москвой. Проводник будил пассажиров, люди, потягиваясь, зевали, потом проворно спрыгивали с полок. В умывальник уже выстроилась очередь — вагон ожил, заспешил. Маслов стоял в проходе, тряс головой и морщился:

— Эх, не надо бы вчера причащаться... Больной сегодня совсем.

Москва встречала серым туманом. Горели огни в окнах, дребезжали трамваи, с шуршанием и гудками катились автомашины. С перекинутыми через плечо мешками

идти в толпе было неудобно. Митрофанов вывернул куда-то в сторону, коротко объяснил: — В метро.

Илья с Масловым шли за ним и на ходу удивлялись множеству людей, что несколькими потоками лились через площади. Федор остановился, окликнул зазевавшегося Веньку:

— Не пяль глаза, а то потеряешься.

Венька обиделся:

— Еще чего. Не хуже тебя все знаю, бывал в Москве, не беспокойся, бывал, — забормотал он, хотя давно забыл, когда ее видел в последний раз.

Со свистом подскочил голубой поезд, стукнули открываемые двери, люди ринулись по вагонам. Венька замешкался, и в дверях у него придавило мешок. Лопнул какой-то шов — крупные ярко-красные ягоды градом запрыгали по каменным плиткам. В вагоне зашушукались, заоглядывались. Маслов немного покраснел, но не смутился:

— Не обращайтесь внимания, граждане, — дурашливо извинился он, скидывая мешок с плеча и при этом неосторожно задел кого-то из соседей. — В первый раз, из деревни...

— Спекулянты, — прошипела ушибленная дамочка с жирно-пунцовыми губами.

Венька тут же завелся:

— Кто спекулянт? — огрызнулся он на дамочку. — Сама спекулянтка, а я трудовой крестьянин... Забыла, кто тебя хлебом кормит?

Вагон вмиг загалдел. Кто-то громко заговорил о милиционере, кто-то пробормотал в защиту Веньки, а он, зашпиливая булавкой прореху, подробно распространялся о некоторых зажравшихся, забывших, откуда они родом.

Пахло скандалом, и на первой же остановке пришлось сойти.

— Что ты на рожон прешь, — обозлился Митрофанов.

— А какого черта она пристаёт, — не унимался Венька. — Не бойся, не в своем поселке. Сегодня мы здесь, а завтра дома — чего переживать?

До рынка больше приключений не случилось. Вышли из метро, прошли камешными дворами, непривычно чистыми от свежего снега. За высоким деревянным забором разноголосо гудела толпа.

— Прибыли,— с облегчением снял с плеча груз Митрофанов.— Разведать надо, что к чему...

Маслов вызвался в напарники, а Илья остался с мешками. Под ногами разгуливали голуби — дородные, сытые, не чета колдомским, и почти не боялись людей, только иногда отбегали в сторону, когда над головой зависал чей-нибудь башмак. На столах торговали всякой всячиной — шапочками из кроличьего меха, рукавицами, яблоками, лавровым листом, картошкой и еще чем-то, чего не было видно из-за множества людей. Митрофанов с Масловым вернулись скоро и злые.

— Что так? — забеспокоился Илья.

— Да ну его, помело,— ответил Венька.— Два с половиной стакан,— как же, выкуси,— крутанул он кукишем перед Федором.

— Откуда же я знал, что навезут столько,— оправдывался тот.

— А про справку тоже не знал,— зло передразнил Венька.

— Какую справку? — не понял Илья.

— Требуют удостоверение. Докажите, что, мол, клюкwa ваша собственная, а не перекуплена для спекуляции. Цена ей здесь — полтора рубля завались. И по полтора не продашь — без справки лотка не дают.

— Да,— почесался Илья.— Попали в непромокаемую.

— Словом,— Венька взвалил мешки на плечо и отряхнулся,— я больше с государством в азартные игры не играю. Торгуйте сами.— И он заковылял обратно к метро.

Митрофанов стоял растерянный, красный.

— Черт с ним, с баламутом,— над ним не каплет. Ему деньги не нужны, а нам надо что-то думать.

Он снова ушел и вернулся через полчаса, с грубыми ящиками — лотками под мышкой и талончиками на место.

— Подмазать пришлось, дьявола. Чуть чего, говорит,— я ничего не знаю. Поторопиться надо — вдруг погорим, что без справки.

— А что будет?

Пристроились с краю — за длинным, заполненным людьми столом, насыпали в лотки ягод, стали ждать. На обрывках бумаги вывели цену, но покупатели не торопились. Если кто и подходил, то сначала запуская ладонь в лоток, перекатывал ягоды, пробовал на зуб, потом рав-

нодушно приценивался: почему? Услышав ответ, пожимали плечами: однако! — и отходили. Было стыдно, нехорошо, словно уличили в чем-то постыдном, неприличном человеку. За час продали стаканов десять, не больше. Илья не выдержал, сбросил цену.

По рублю торговля пошла веселее, даже очередь небольшая образовалась. Соседи по прилавку косились на непрощенных конкурентов, переживали, но молчали, переминаясь с ноги на ногу, да изредка заглядывали через плечо — скоро ли кончится расточительство? Еще не зажигали фонарей, когда опустели мешки. Сдали приемщику лотки, тут же, за кассой, загораживая друг друга, посчитали выручку...

— Дорога обошлась — и то добро, — утешил Федор. — Пойдем, хоть из продуктов чего-нибудь купим.

Остаток дня бродили по магазинам. Нечаянно попали в детский универмаг. Очарованный, ошеломленный, Илья растерянно стоял среди веселого, радостного шума детских игрушек и переживал, что нет рядом его ребяташек. Вот бы порадовались, нагляделись вдоволь. Долго раздумывал, выбирая подарки. Наконец купил две заводные машины, кубики, конструкторский набор, а главное — большого коня-качалку с изящной раскрашенной сбруей и пышным хвостом.

Так и тащился с этим конем под мышкой через всю Москву. Остановившись отдохнуть, любовался забавной игрушкой, улыбался про себя, представляя, как обрадуются этой диковинке ребяташки.

Только в поезде они наконец поели. Митрофанов принес от проводника кипятку, каждый отрезал по большому ломтю хлеба, густо намазал его маслом, покрыв сверху внушительным куском колбасы, — одновременно обед и ужин. На всякий случай прошлись по вагонам — нет ли Веньки, потом задремали, усталые, сидя на своих общих местах, и проснулись в Колдоме. В избу Илья ввалился, когда ребяташки еще спали. Поставил подле стола гостинцы — так, чтобы сразу заметны были, быстрехонько переоделся — и на работу. «Родимый» уже по второму разу гудел. Попутно заглянул к Масловым, узнать, как дела у Веньки, но хозяина дома не было. Не вернулся он и с вечерним, архангельским поездом. Испуганная жена пачинала потихонечку подвывать, добавляя тяжести в душу Илье, что покинули друга, как вдруг пропавший объявил-

ся. Приехал он ленинградским поездом — довольный, веселый. Рассказал, что махнул на свой страх и риск прямо в Ригу, где спокойно расторговал весь груз по два с половиной за стакан, причем справки с него никакой не спросили. На выручку отоварился трикотажем — кофточками, свитерами, рукавицами — всю семью одел в обновки, да кое-что и ветровским детишкам досталось.

Митрофанов, удивляясь Венькиной удаче, заикнулся было насчет Риги, но Илья отказался паотрез. Помнилось, как свысока окидывали его взглядом на базаре, будто делал он что-то постыдное, и до сих пор было больно от несправедливой обиды...

Но вскоре подвернулся другой приработок.

На станцию привезли кубометров триста леса. Расторопные и хозяйственные колхозники-гуцулы каким-то образом сумели закупить его для своих нужд прямо в леспромхозе. Чтобы не искушать судьбу, лес надо было срочно вывезти. Тут и подрядился Митрофанов на погрузку, а в напарники пригласил Илью и еще одного человека — крановщика. Расплачивались гуцулы прямо на месте и в оплате не скупились. Пять вагонов погрузить — работа, на первый взгляд, нехитрая: вали бревна грудами да распахивай ногой, чтоб ложились плотнее. Но как во всяком деле, здесь особая сноровка нужна, особенно когда верх выводишь. Не растряслось чтобы, не раскатились кряжи дорогой, а то не ровен час и эшелон можно под откос отправить.

Первые два полувагона уложили удачно, вывели шапки, закрепили распорки, проволокой стальной стойки стянули — чин по чину. Обвыкнув, заработали быстрее: кран цепляет пучки бревен, подает наверх, а там Илья пристраивает их к месту. Начали крепить верх, закончить чтобы да сходить поесть как следует. Кран развернул последнюю порцию, качнул ею в поднебесье и медленно стал опускать к рукам Ильи. Илья придержал край связки, направляя, чтобы легла она поточнее, как вдруг трос лопнул. Расщеперенной пятерней оцетинилась связка. Два выскочивших еловых балапа сбили Илью, распластали его, придавив грудь и ноги.

Напарники торопливо сняли бревна и аккуратно опустили Илью на землю. Пока бегали за помощью, уже прокатился по поселку слух, потянулись, завздыхали любопытные.

Илья лежал в памяти. Глухо постанывал, морщился от боли. Удар пришелся комлем в грудь — оттого казалось, что нет тела, а есть только жгучая, ноющая боль. Прибежал незаменимый Никандрович, сделал укол, ваткой отер кровь с уголка рта. Задохнувшись от бега, растолкала людей Катерина и, увидев мужа живым, враз ослабла, опустилась на снег, зашлась в надрывном, облегчающем душу плаче.

Илья шевельнул губами — хотел что-то сказать, но не смог. Так и увезли беспамятного специально вызванной дрезиной в больницу — в область.

Давно побелела земля, ядреный морозец глухо записал стекла в доме, а Илья все лежал в больнице.

У Николки — каникулы. Он сидит дома, смотрит в протаянный глазок. На улице холодно и никого нет. Видны только черные вороны, гуляющие на заледеневших выплесках помоев, да изредка промелькнет кто-нибудь спешащий по своим делам.

Мать на работе, а Лешка теперь ходит в детский сад. Николке одному скучно. Подумав, чем бы заняться, он подвигает стул поближе к столу, достает чернила, бумагу и садится писать письмо. Большими, немного расползающимися буквами выводит первое слово — здравствуй, — и задумывается...

Все эти годы звал он отчима дядей Ильей, хотя мать хочет, чтобы он звал его отцом. Но отец — вон, на фотокартонке рядом с зеркалом. Он воевал вместе с дядей Ильей и погиб. Он даже в отпуск с войны приезжал, рассказывала мать, но тогда Николки еще на свете не было. Николка отца любит и ночами, если днем было что-нибудь плохое, шепотом рассказывает ему. Отец слушает и молчит. Он был очень хороший — Николка знает — ему дядя Веня рассказывал, и дядя Илья тоже. Дядя Илья хороший — все ребята об этом говорят, только отцом его назвать у Николки просто язык не поворачивается. Не привык, видно. А дядя Илья Николку все время сынком зовет.

Николка оставляет строчку недописанной. Потом придумает, как сказать, и продолжает.

«У нас все хорошо. Лешка ходит в садик, больше не плачет. Приезжай скорее. Мама ждет и я. И Лешка тоже. Я всегда буду слушаться. Письмо кончаю».

Он на минутку задумался и поспешно добавил:

«Дядя Веня принес собаку Шарика, я с ней играю». Николка начал грызть ручку, припоминая, какие еще новости рассказать. Он устал, выводя крупные печатные буквы, и кончик носа сделался потным. Потом Николка решил поискать конверт, чтобы заодно написать адрес. Но найти долго не мог. Потом он искал адрес, и когда все было готово и письмо можно было заклеивать, в дверь постучались.

— А где мать, Николка? — спросила почтальонша тетя Маша. — Телеграмма вам от отца. Распишись — и снеси ее матери на работу. Он сегодня приезжает, встретить просит.

— Ура! — закричал Николка и пробежал вокруг стола. Потом старательно расписался в тети Машиной книжке — Ветров, и сам прочитал телеграмму.

«Приеду пятого пригородным. Проси Веню встретить. Целую Илья», — было написано в ней.

Николка посмотрел на календарь: толстый, еще новый численник чернел небольшой пузатой пятеркой.

Потом Николка посмотрел на часы — они как раз хриплым боем со звоном отсчитали семь раз.

«Еще долго — два часа с лишним, — подумал Николка. — Сейчас мать с Лешкой придут. Боятся, наверно, ночью один идти, — подумал он об Илье. — Конечно, после больницы слабый, а тут еще рассказывали, что недавно волки в поселок забегали, чуть собаку у Никандровича не съели.»

Николка торопливо натянул пальто, шапку, обвил вокруг шеи шарф. Сам не маленький, встретит Илью. Вот мать с Лешкой удивятся, когда они вдруг домой вместе придут! Он засмеялся, представив их обрадованные лица, и выбежал на улицу. Щекам стало горячо, на глаза навернулись слезы от едкого ветра. Николка поднял воротник, чтобы не дуло в шею, свистнул Шарика. Но Шарик вертел хвостом и идти вместе не хотел. Тогда Николка на всякий случай достал из-под крыльца длинную палку, которой летом они играли в городки, и храбро начал спускаться по узкой, переметенной снегом тропинке.

На станции пришлось подождать в маленьком пассажирском зале. Николка посидел на диване, заглянул в кассу, прочитал все объявления и расписания на стенах. Несколько раз выходил на улицу — всматривался, не

идет ли поезд, и, когда по радио объявили прибытие, торопливо пошел навстречу, чтобы скорее увидеть Илью. Паровоз поравнялся и обогнал его — Николка побежал вслед, задирая голову, чтобы лучше видеть окна и тамбуры. Когда он заметил и подбежал к Илье, тот уже спускался на землю. Поставив одну ногу на балласт, он ловко перехватил поданные костыли и перешел на площадку. Какой-то человек, ежась, поставил рядом с ним чемодан и сетку, а сам вернулся в вагон.

На глаза Николки навернулись слезы.

— Папка, ты так и будешь на костылях?

Илья ладонью крепко обхватил его за шею, привлек к себе:

— Брошу, к весне брошу...

— Плохо тебе, да? — тревожно заглядывает в глаза Николка.

Илья подмигивает: — Ничего, сынок, переживем...

4

Пережили. Пятнадцатую послевоенную весну встретила Колдома. Прошли черемуховые холода, тополя вдоль улиц выметали большой — с человеческую ладонь лист, и началось лето — пыльное, жаркое, с грозами — самое настоящее.

Безвозвратно ушли в прошлое былые неприятности, думы и беды. Только осталась у Ильи легкая хромота на левую ногу, да порой, когда надо подчеркнуть особую давность какого-нибудь события, в поселке машут рукой:

— Тю, вспомнил... Это было, когда еще старый пакгауз пацаны чуть не сожгли...

А вообще жизнь идет своим чередом — неторопливо, спокойно, как ей и положено.

Сегодня Илья — выходной. Только что вместе с Николкой кончили окучивать по первому разу картошку и теперь попеременно плещутся под ледяной колодезной струйкой.

— Силен ты, парень, стал, — отфыркиваясь, говорит Илья, — чуть было не замотал меня, едва-едва угнал за тобой.

Николка мычит что-то неопределенное, смущенно улыбается и думает, что и сам он работал из последних сил, и если его хватило без отдыха до конца, то только потому,

что не хотелось слабаком перед отцом показаться. Как-никак — четыре большие гряды за утро окучили, а земля сейчас слежавшаяся, тяжелая.

После работы во всем теле приятная истома, и аппетит дает себя знать.

Сначала едят в охотку и молча. Но вот борщ съеден, голод утолен, и Илья начинает разговор:

— Так что, сын, может, все-таки нынче отдохнешь?

— Решили ведь уже, — отказывается Николка.

Илья кивает головой — помню. Повторяется прошлогодняя история. Кончил тогда восьмой класс, погулял три денька — и на работу, на кирпичный завод вагонетки разгружать. Решил, что на себя сам зарабатывать должен. Вначале Илья было обиделся — как-никак отец с матерью есть и оба с руками-ногами, зарабатывают, конечно, не бог весть сколько, но на еду и одежду хватает — чего же себя с таких лет мучить? Добро бы еще куда-нибудь в поле, гряды полоть или ягоды собирать — так, как раньше было, а он в грузчики с шестнадцати-то лет. А потом поразмыслил и решил, кроме пользы, от работы ничего не будет. Во-первых, как сызмала цену трудовой копейке узнает, так это на всю жизнь и останется, а во-вторых, — сам поокрепнет, силенки поднакопит. Кирпичи не бревна — не надорвется. Поработал в тот год Николка два месяца — и получил прилично: костюм себе купил к школе, пальто зимнее сшили — доволен был парень: сам заработал. В этот год всех троих надо в школу собирать: Николка — в десятый, Лешка — в пятый, а самый меньшой — Санька — в первый класс пойдет.

— Ну что, сын. У меня послезавтра можно отгул взять — поедем на озеро, посидим с удочкой?

— Поедем, — соглашается сын. — И Саньку надо бы взять — я ведь давно ему обещал, что на озеро сведу...

Вдруг Катерина что-то вспоминает, поспешно уходит в комнату и возвращается улыбающаяся:

— Дневник-то не видел, отец? Глянь — одни пятерки за год, только по химии четверка...

— Да ладно, чего там, — басит Николка и выбирается из-за стола. Ему приятно и неловко. — Пойду я, на реку схожу...

Катерина смотрит вслед и качает головой:

— Не показал ведь, негодник. Спрятал в стол — и ни словечка...

— Не любит хвастать — характер такой. Замкнутый он у нас с тобой, мать. Возраст, может, такой — не знаю... Сама ведь видишь, все вроде бы хорошо, разговариваем, работаем, а ведь еще ни разу не было, чтобы он чем-нибудь сокровенным поделился. Может, я отец плохой?

— Дурачок ты, — обнимает Катерина мужа за шею, — просто сам ты себя ведешь, будто боишься его в чем-то обидеть... Сколько раз говорила, чтобы ты с ним построже обходился... Когда уроки прогулял, когда в область уехал не сказавшись, — а ты даже голоса повысить не можешь.

— Не могу, Катя. На меньших-то двоих и то не могу, а он ведь самостоятельный. Им, правда, легче — без забот растут, а это плохо. Ты их приучай, что ли, хоть о себе заботиться, особенно Саньку. Баловень он... Вон у Масловых — старших шестеро — отличные ребята, трудолюбивые, вежливые, а последних избаловали — такие вредные, сопляки. Капризные, куражатся перед матерью — так бы и врезал ремнем.

— Марию жалко — как она бьется с такой оравой? От Веньки ведь никакой помощи — совсем байбак байбаком стал. Ты бы хоть на него подействовал, хотя все равно зря: ни стыда, ни совести. Наклепать целую избу сумел, а расти пусть сами растут...

— Зря ты, Катерина, нападаешь на него. Он ведь мужик умный, работающий — дома только не ладится...

— Когда это он умным-то был? — горячится Катерина.

— Да хотя бы на работе. Станка ведь неубранным не оставит и каждый брусочек к делу пристроит. И в компании любой самый желанный человек — прямой, открытый. Попроси его о чем — расшибется, а сделает. Вон у Никандровича когда двор осел — всю ведь крышу Маслов переделал за одно спасибо. А то что дома не все ладно, не он виноват...

— Конечно, не он, как же, — возмущается Катерина. — У вас всех жены виноваты, кроме тебя, конечно, — смеется она и лохматит голову мужу. — Все равно мне твой Венька не нравится — и все.

А в это время Маслов лежит на диване и не знает, что о нем где-то идет спор. Он захлеб читает какой-то толстый роман без обложки — случайно нашел на чердаке у Никандровича, когда слези менял. Все книги в станцион-

ной и заводской библиотеках Маслов перечитал, теперь приходится перебиваться, что под руку попадет: старыми газетами, журналами, да такими вот находками. Роман захватывающий, и зов жены раздается в самый неподходящий момент:

— Венька, черт! Воды хоть принеси, увалень несчастный...

Он делает вид, что не слышит, и со злостью переворачивает сразу две страницы. Зов повторяется. Венька с ворчанием встает, звякает ведрами и идет к колодцу. На душе кипит.

— Восемь балбесов растет,— гундосит он,— а помощи ни от кого не жди, только хлеб переводят.— И в этот момент жизнь тошна ему.

Но дорога, доброе полуденное солнышко, ветерок, настоявшийся на тепле и цветущих травах, освежают. У плетня галантно квохчет яркий петух, созывая кур к находке, монотонно гудят в вышине телефонные провода. Венька успокаивается и, занеся в дом полные с плавающими деревянными кружками ведра, шутливо щиплет жену за бок.

— Отстань,— сердится Мария,— одна дурость на уме...— Настроение у Веньки снова портится. Он возвращается на диван, но книжки под подушкой нет — сперли, видно, чертовы дети. Для порядка Венька показывает потомство, не разбирая правых и виноватых, но читать ему уже расхотелось. Он немного думает — и собирается к Ветровым смотреть телевизор. Сегодня воскресенье — и программа должна бы уже начаться. Телевизор пока для Колдомы большая диковина, и стоит он пока только у Ильи. Спасибо Николке — смастерил какую-то особую антенну, что принимает из области передачи почти без помех. Из соседних поселков мужики специально ириезжали поучиться — как такое сумел парнишка сделать, оказалось, что здесь условия особые — на возвышенности сама Колдома стоит и в какой-то канал радиоволн упирается. По вечерам у Ветровых народу — не протолкнешься. Каждый приходит со своим стулом, и здесь куда интереснее, чем в кино. Можно и поговорить друг с другом, и чайку попить, и перекурить в прихожей между делом. Самые башковитые мужики эту штуку придумали — весь мир можно увидеть, не выходя из собственной квартиры. Интересно — столько ведь людей на

Земле живет, под одним солнцем ходим, а знаем друг о друге куда как мало. Надо бы самому телевизор завести — давно Венька об этом думает, только достать сейчас его очень трудно. В Колдоме их еще не бывало, а из области дружок на Венькину просьбу ответил, что если записаться в очередь сейчас, то подойдет она года через два. На что Маслов немедленно согласился и написал — хотя бы и через три, только бы достать...

Когда Венька приходит к Ветровым, там уже сидит Митрофанов и тербит свою неизменную фуражку с огненным верхом.

— Как раз кстати, — радуется он Венькиному приходу. — Дело к тебе есть, Григорьевич...

— Валяй, дело — это я люблю, — отвечает Маслов и присматривается — о чем это идет разговор по телевизору.

— Слышал, поди, — сына женить хочу, — начинает Митрофанов, — Петьку...

— Дело хорошее, — соглашается Маслов. — Парень взрослый, самостоятельный. На днях вместе в леспромхозе ночевали, так шалаши знатно строит. Пора, значит...

— Попросить тебя хочу — не поддержишь ли музыкой ..

Венькины глаза начинают светиться — что ни говори, а человек он нужный, но для порядку немного ломается:

— Прийти, конечно, можно, но знаешь ведь, какой я игруля. Самоучкой «отвори да затвори» освоил — а это разве музыка для образованного человека? У тебя, чай, родня приедет?

— Соберутся, — соглашается Федор, — да ты не стесняйся, свои люди, простые ведь они. А без живой музыки, под радиолу, какой праздник? Ты уж уважь, Григорьевич, старые друзья ведь...

— Ладно, — соглашается Венька, — буду как штык.

— С Марией вместе приходите — без повторного напоминания. В следующую субботу к пяти часам. И никаких подарков, так приходите.

— Не сомневайся, будем честь по чести.

Митрофанов благодарит, прощается с Венькой и Ильей и уходит — оповещать новых гостей. Венька задумывается...

Последние годы на все празднества он ходил один — без жены, и был в этом свой резон. Если прийти вдвоем,

то считается вроде гостей — и без подарка являться неудобно.

Подарки же к свадьбам в последнее время принято было покупать видными — плюшевые скатерти, торшеры, наборы столовой посуды, деньги на них тратились щедро, чтобы было чем втайне щегольнуть гостям друг перед другом.

В этом из-за большой семьи Венька конкуренции составить не мог, а быть хуже других он не хотел, поэтому и ходил на свадьбы с одной гармонью: вроде бы как на работу, из одолжения. Митрофановское замечание о подарке неприятно кольнуло его — и он придумывал, как быть.

— Слышь, Илья, а что, если мы на пару молодым радиолу подарим?

— Точно, светлая твоя голова, — обрадовался Ветров, — я тоже о подарке думаю. Аккурат и будет — и вещь нужная, и расходы не ахти.

Венька хотел поговорить поподробнее — что радиола вещь действительно дельная, но по телевизору начали показывать хронику — одну из самых любимых его передач, и теперь Маслов весь внимание. На экране — заграница: множество людей, машины, плакаты — это в Вене встречают нашу делегацию.

— Смотри, народу сколько, цветы, приветствия — все чин по чину, — говорит Илья.

— А ты что думал, — важно отвечает Венька. — Везде умные люди есть, понимают. От раздора ведь пользы нет, одни убытки... Ты смотри, — спохватывается Венька, — памятник нашим солдатам. Могли бы, конечно, и повнушительней, но и это ничего. Пусть хоть изредка посмотрят да вспомнят, кому он поставлен и за что.

— Эх, Венька, вон она когда жизнь-то полная начинается, — сам себя на две головы выше чувствуешь. Все в лаптях ходили, голодали — и вдруг на тебе: спутник полетел... Эх, да...

Сидят, крутят головами — нету нужных слов, только гордость в душе живет — за Россию... Эх, черт, все ведь можем... Руки только еще не до всего дошли, — и по-особому уже видится своя жизнь, в которой пропадает обыденность. Большие события объединяют людей, поднимают их до себя, и снова вспыхивает вера, что все лучшее — впереди.

К свадьбе начали готовиться с утра. По случаю торжества Венька самолично вычистил и дважды выгладил свой единственный костюм, даже галстук хотел пристегнуть, но раздумал: шее неудобно. Мария стоит перед зеркалом и почти час что-то накручивает на голове. Венька несколько раз хмыкает про себя — научатся же где-то ерунде, но вслух ничего не говорит. А вообще — ничего... И помоложе оба, и покрасивее, чем обычно. Наконец с прической кончено, и Мария счищает с плеча мужа одной ей заметные пылинки, а потом мокрой щеткой трет леснящиеся на свету складки на рукавах.

— Ты уж удержись, — наставляет она мужа, — не пей там...

— Ладно...

— Споначалу чуток пригуби — для веселья, и хватит...

— Ладно, сказал тебе!..

— Я ужо купила, вечером вернешься — тогда уж сколько пожелаешь...

— Да хватит же!!! — взрывается Венька, — но как раз в дверях появляются Ветровы...

Гости почти все уже в сборе, и большинство — свои, колдомские. Во главе стола — молодые: нарядные, счастливые, смущенные, а рядом пара ничуть не хуже — Николка с Татьяной.

— Смотри-ка, — толкает Венька Илью в бок, — никак скоро сватами станем?

— Тише ты, не смущай ребят, — шепчет Илья.

Поздравили молодых, пробрались за стол — и посыпалось веселье. Будто все только и ждали Венькиной гармонии — чтобы покатила свадьба своим чередом. Поначалу еще уравновешенная, спокойная, церемонная, ждала свадьба своей поры, чтобы по-удалому развернуться и загулять — бесшабашно, с озорством, — во все времена помните, молодые, первый день совместной жизни.

Попели, поплясали — вернулись за стол, передохнуть. Из пезнакомых были только родственники Митрофанова — майор с женой и пожилой железнодорожник. С ними познакомились, разговорились о разных новостях. Особенно прислушивались к майору, так как жил он в самой Москве и должен был во всех новостях разбираться лучше любого из колдомских мужиков.

Первым делом майор рассказал, как встречали в Москве Гагарина, и что это за штуки такие — ракеты. Об этом последнее время очень много писали в газетах, но все равно живого человека слушать было интересно, к тому же майор намекнул, что и он имеет какое-то отношение к тем великим событиям. Как всегда водится в русских больших компаниях, поговорили о политике — и здесь майор оказался на высоте. На вопросы отвечал уверенно, с достоинством, ответы обдумывал, а не ляпал с бухты-барахты, и доходчиво объяснял, почему рейхстаг оказался в Западном Берлине, как решается вопрос с Лаосом и каким образом за границей организуют провокации против наших посольств.

Вопросы задавал чаще других Никандрович. Областная газета недавно написала о нем как о примерном книголюбе, и он, еще не насладившийся до конца этим признанием, не упускал случая щегольнуть своей осведомленностью, а если получится, то и сконфузить немножечко собеседника.

— А что, товарищ майор, про новые деньги говорят?

Майор аккуратно погладил щеки, словно проверил — чисто ли выбрит.

— Ну, реформа эта, товарищи, сделана для облегчения. Счетным работникам легче, да и практический расчет для населения удобен... Никому никаких материальных выгод или убытков она не принесла — сами видите, что масштаб цен остался прежний...

— А как тогда объяснить, — многозначительно поднял вверх палец Никандрович, — доллар американский раньше стоил четыре рубля на наши деньги, это по-повому сорок копеек, так?

— Правильно.

— А теперь пишут, что он стоит девяносто копеек. Стало быть, раньше на десять доллоров (он делал ударение на а — так казалось внушительнее) мог я, к примеру, купить три килограмма сахара, а теперь вдвое больше. Как вот тут понимать?

Как тут понимать, майор не знал, и торжествующий Никандрович задумался над следующим вопросом. Откашлялся, многозначительно оглядел мужиков.

— Тут я слышал, — начал он, — что летчика, который самолет американский на Севере сшиб, поначалу было на гауптвахту посадили, а потом выпустили и орден дали...

Майор нахмурился и сказал, что все это вражеская пропаганда, рассчитанная на несознательных людей. Слова «пропаганда», да еще «вражеская» сконфузили старика; больше он каверзных вопросов решил не задавать. Получилась небольшая заминка. Венька снова взялся за гармонь, заиграл веселую:

Вдоль по улице метелица метет,
Митрофанов за метелицей идет...

Оглядывая гостей, все ли подхватили, он встретился взглядом с женой. Она показала пальцем на стопку и замотала головой — не трогай, мол. Венька нахмурился. Он сам с утра говорил себе, что если и выпьет на свадьбе, то лишь самую малость, и настроение с самого начала было таким хорошим, что о вине даже не думалось. Но стоило ему теперь только краем глаза посмотреть на жену, как тут же вспоминались ее предупреждения, появлялся маленький чертенок в розовом трико и начинал подначивать — докажи, мол, что сам самостоятельный и по чужой указке жить не желаешь...

Венька тряс головой, прогонял чертенка, смотрел в сторону, и, как только встречался взглядом с женой, все начиналось сначала. Наконец борьба эта его измотала. Он поставил гармонь и потянулся к стопке — убрать подальше, чтобы хоть она не смущала. Жена заметила его движение и, довольная, что до сих пор он был послушным, решила еще раз одернуть его, покрасоваться перед товарками — смотрите, мол, выучила, слушается. В комнате как раз смолкли, и предупреждение раздалось очень громко. Венька ничего не ответил, только бешено сверкнул глазами, а потом взял и с маху врезал целый стакан. Чертик довольно вильнул хвостом и исчез.

Гости стали разбиваться на стайки, говорить каждый про свое, а Веньку потянуло поплакаться на судьбу. Он подошел к майору, но тот о чем-то яростно спорил с Митрофановым. Молодежь шушукалась о своих делах, Никандрович клевал носом — никому не было заботы о Венькиных переживаниях. Тогда он пошел искать лучшего друга — Илью, но по пути задел за стол, что-то со звоном разбилось. Мария, обиженная, что так специально он сконфузил ее перед людьми, а теперь вот щерепится, портит компанию, в сердцах бросила:

— Везде с тобой срамота одна... Уберегла тебя война на мою голову...

Веньку затрясло, и, коротко взыв, пошел он в лютой злобе домой.

У калитки Мария догнала его, тронула за рукав. Он отмахнулся коротким тычком, выругался.

Навстречу метнулась дочь — тоненькая, в белом свитере:

— Папа, что с тобой, папа?

Венька повел шеей, словно хотел освободиться от душащего воротника, округлил сатанеющие глаза, и злоба, заполнившая его, больше не могла удерживаться. Захотелось грязи, и он собрал все, что мог:

— Пап,— передразнил он.— Ты ее спроси, кто твой пап... Молчит небось, что брюхатой взял, хотел чужой грех покрыть...

Девушка побледнела и несколько мгновений простояла без движений, плечи под свитером дрогнули, и, закрыв лицо руками, она бросилась со двора. Навстречу ринулся Николка. Не владея собой, он подскочил к Веньке, хотел что-то сказать, но губы дрожали и не могли ничего сказать, только прерывисто мычали что-то, и тогда он с силой, злобно ударил Веньку в лицо, еще и еще и, задыхаясь какой-то давящей на сердце болью, бросился к лесу — вслед за Таней.

Маслов лежал, вдавившись лицом в землю, и росистая прохлада освежала его. Злоба, породив другую злобу, стихла и умерла. Подбежал испуганный Илья, обнял за плечи, помог подняться с земли. Увидев на лице кровь, вспыхнул: кто?

Венька устало утерся:

— Чепуха... Николка врезал, за дело, видно... Завтра все прояснится...

Илья оторопел:

— Как Николка?

— Ерунда все... Пойду я к тебе, вздремну, ладно?

Маслов тихо пошел прочь, а Илья остался на месте. Услышав шаги, поднял голову и узнал Николку:

— Поди сюда,— позвал глухо.

— Некогда,— отмахнулся тот на ходу.

— Поди,— грубо повторил Илья.— Паршивец. На хлеб себе еще зарабатывать не научился, а людей уже презираешь...

Сын посмотрел с недоумением и болью и ушел.

Незаметно подкралась ночь — белая, умиротворенная. Поддаваясь ей, мельчало зло, утихало горе. Люди засыпали...

На мощеной перронной площадке стояли двое — мальчик и девочка.

— Ты потерпи немного, всего два дня, я узнаю и приеду за тобой, — говорит мальчик. — Училищ много, общежитие дают и кормят. Вместе поступим — и никто тебя больше не обидит и не попрекнет. Я бы сейчас тебя взял, да ведь денег нет, ночевать негде будет устроиться...

— А ты? — пугается девочка.

— Я ничего, я бывалый. Сначала до утра на вокзале пересижу, а потом схожу и все узнаю. Послезавтра утром вернусь. Ты только дождись, не расстраивайся, а потом мы никогда-никогда разлучаться не будем...

— Хорошо, — прошептала девушка.

— И домой — не ходи, у тетки пока побудь...

— Нет, — вздрагивает она, — домой я не пойду. — И слезы соскальзывают на свитер.

Вдали появился паровоз — светлым, увеличивающимся огоньком. Мальчик обнял плечи подруги:

— Ты, пожалуйста, потерпи немножечко... Я тебя никогда-никогда не оставляю...

Она опустила ресницы. С шумом притормозив, остановился состав и тут же, заскрипев, медленно покатился дальше. Мальчик вскочил на подножку — уже на ходу, и исчез в освещенном тамбуре, а девочка медленно побрела по тропинке вдоль насыпи.

Утром Веньку разбудил петушиный крик. Солнце еще не полностью выкатилось из-за горизонта. Прохладно. И четко возникает в памяти вчерашний вечер. Забыть бы, не помнить, заспать всю гадость, — Венька закрывается руками, мучается. Восемнадцать лет молчал, даже намека не давал — и на тебе, укорил — дочь укорил. Жили спокойно, не знал никто ничего — треспула жизнь. Забыться бы, открутить как ленту в кино вчерашний вечер назад или совсем вырезать — будто и не было ничего, так ведь нет, уже не поправишь: было.

За стенкой, в горнице у Ветровых, слышится какой-то шум, и Венька закрывает глаза: стыдно.

Кто-то барабанит в дверь — неистово, громко — и слышится голос сменщика Митрофанова — Петра:

— Беда, Илья, из области звонили — с Колькой твоим беда...

Зашлось сердце. Враз на ноги — и в сени.

— Позвонили, сказали, что привезли час назад... Ехал на поезде, без билета, видно, побежал от контролеров и выскочил на ходу...

Задыхается Петр, лбом на стену упал, дышит.

— Жив? Жив, да? — трясет Илья Петра.

— Не, не... — качает головой, и все меркнет в глазах, останавливается. — Не... знаю...

Не сговариваясь, бросились вместе с Ильей к гаражу. Венька замок сбил — оба в директорский «газик» и по засохшему, изрезанному гусеницами проселку что есть мочи — к шоссе. Илья грудью на руле, всем телом баранку поворачивает — не застрять бы, и что-то про себя повторяет. Венька слова слышит, но смысл до него не доходит. Ясно ему только, что главный виновник здесь — он — и лихорадочно шепчет вслух:

— Господи... Спаси его, господи...

Отродясь ни в какого бога не верил, а теперь верит неистово, на чудо надеется.

— Только бы живой, только бы живой, — и слезы плоскими бороздками на щеках.

Остановился Илья прямо перед больничным крыльцом, смяв газон и враз нажав на все тормоза, — выскочил, забарабанил в окошечко, призывая хоть кого-нибудь.

Открыла санитарка, заспанная, злая, хотела заругаться, но, увидев искаженное, сумасшедшее лицо, — оробела, осеклась...

— Ветров, Коля Ветров — жив? — выдохнул Илья.

— Мальчик? — переспросила она. — Бок у него очень поранен, а так вроде не опасно... Врач его дежурный смотрит. Спросить пойти?

Илья жадно закивал головой — говорить он не мог, а Венька медленно сполз с сиденья — ослаб, подкосились ноги, и, уже не сдерживаясь, заплакал. Едкими струйками бежали слезы — слезы облегчения и вины, и, еще не веря, беспрерывно повторял про себя: «Жив... жив...» — единственное свое оправдание, а рядом жадно сосал потухшую сигарету Илья.

ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА

1

Осень — ядреная, чистая, пропахшая яблоками, сочными капустными кочанами, обданная свежей прелостью облетающих листьев, — эта осень уже прошла, и уныло кропил оттепелями поздний, с гололедицами, ноябрь.

Замахин возвращался домой. Рассыпанным горохом покатались через привокзальную площадь пассажиры. Только-только начинали желтеть квадратики окон на серых, дремотных фасадах. Люди невольно ежились от промозглого утреннего ветра и спешили в тепло, в тишину. Дом Андрея был недалеко от вокзала, за вторым поворотом. В торопливом восторге вбежал он по приземистым лестницам, у дверей остановился, перевел дух.

Поправил фуражку и открыл дверь. Заохала, запричитала бабка, норовя прижаться щекой к колючей шинели внука. Тотчас дробно пробарабанили босые пятки, прибежал вытянувшийся за два года младший брат Витька.

— Андрюха, а ружье у тебя где?

Мать шикнула на него, затормошила, заобнимала вернувшегося первенца. Степенно дождался своей очереди отец.

— Покажись-ка, сержант! Ничего, видать, солдатская каша на пользу пошла. Возмужал, окреп... Хорошо, хорошо, — оглядывал он сына со всех сторон. Мать уже возилась возле плиты, брякая чайником, сковородками, многочисленными конфорками, и радостно жмурилась от сизоватого, совсем не едкого дымка.

Андрей аккуратно спрятал за шкаф этюдник, поставил на стол чемодан.

— Батюшки, большой какой, — подивилась на чемодан бабка.

— Ребята все время дразнили, — засмеялся Андрей. — Не чемодан, говорят, а мечта вагонного урки. Барахла за два года накопилось, а бросить жалко. Ну, подходите...

Подарки разбирали со стеснением и радостным изумлением. Отцу — сапоги, добротные, командирские — с яловыми голенищами и подошвой на медной шпильке в два ряда, матери и бабке — зимние пушистые платки, бра-

тишке — солдатский ремень и самодельную, перешитую из первого срока, но совсем как настоящую гимнастерку. Остальное в чемодане были книги, альбомы, плотно завязанные папки.

— Ну, что, мать, давай хлопочи. Ставь пироги, соседей приглашай — сын у тебя вернулся!

Мать сняла с вешалки пальто.

— Пойду в столовой у девчонок теста попрошу, быстро испечем.

— В магазин сходить мне уж доверься, — сказал отец и, желая сделать сыну приятное, молодежато крутанулся на каблуках. — До чего хороши, аккуратно по ноге. Удружил, сын, спасибо. До самой смерти проносятся.

Он сел на стул, выкинул вперед ноги, достал сигареты.

— Куришь?

Сын помотал головой.

— А я вот бросать бросил. Удобнее иногда. Сидишь в компании, а говорить бывает нечего. Сигаретку в зубы — вроде делом занят. Смотришь, и за умного сошел.

Когда пришли гости, все было готово и выставлено на стол. Собрались знакомые: Паша-шофер с женой, безногий сапожник Коля Фурьев, Силкины, Воронковы — соседи давние, дружные. С Андреем здоровались на особицу — за руку. Каждый спрашивал про службу и понимающе кивал в ответ. За столом расселись по обычным местам, как привыкли за долгие годы соседской жизни.

Повелось это еще с войны, когда за штопкой белья и неторопливым бабьим разговором коротали солдатки свои печальные вечера. После победы встречались реже — большая беда, бывшая когда-то общей, вдруг раздробилась на множество мелких, и каждая семья зажила своим осколочком забот. Но осталась привычка время от времени собираться вместе, чтобы повспоминать, подумать, поделиться заботами или радостями. И теперь люди сидели за столом со спокойным, не важным, но очень пужным разговором, и казалось им, что рядом сидит не сопленосый голоштанный Андрюшка, а какой-то незнакомый, представительный и, должно быть, очень умный солдат. От этого впечатления немного робели.

После первой стопки отец дождался тишины, откашлялся:

— Рисовать не забросил?

— Поделал немного,— быстро отозвался Андрей.— Времени только мало было...

Он достал этюдник, вынул тоненькую пачечку картонок, роздал по одной за стол.

— Мать честная,— воскликнул Паша,— это же наша Подлесная.— Он поднял картон и ткнул пальцем: — Вот дом наш, завод краем видно...

— Точно, похоже...

— Знакомое, смотрю, вот и окно мое, только Нюрки не хватает...

Отец задумчиво сморщил лоб, взгляделся в разноцветные мазки. Одобрительно хмыкнул и заговорил негромко, чуть торжественно:

— Хвалю, сын. Талант — его развивать надо, в любых условиях стремиться работать, да. Мы для тебя, конечно,— он обвел рукой вокруг,— авторитеты небольшие, но ты ведь для народа работаешь, для таких же, как мы. Петр Петрович, учитель твой, сам знаешь, человек умнейший и на ветер слов не бросает. Он тоже говорит, что в тебе большой талант скрыт. Дерзай дальше...Одно только помни: родных, соседей, товарищей своих — не стыдись...

— Замолол,— оборвала мать.— Чего ему стыдиться?

— Помолчи, коли не понимаешь. У них, людей искусства, есть иногда эта струнка. В разговоре гордые — от земли, мол, а на деле родни малограмотной стесняются и в компанию свою боятся пригласить. Но ты не такой... нет... За твой успех, за наш, замахинский корень и хватку!..

Коля Фурьев потребовал гармонь, уперся в нее подбородком и резко рванул мехи. Отчетливо выговаривая слова, запел:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали...

Посерьезнели, вступили в песню остальные. И каждому казалось, что рассказана тут частичка его души, его жизни, и рассказана так, что иначе рассказать нельзя. Пели всегда одно и то же: «Рябину», «Ямщика», «Катюшу», «Хас-Булат» — любимые песни послевоенной окраины, протяжные, русские, без которых не обходилось ни одно торжество.

И вот вышел отец на пяточок между столом и

дверью, прищелкнул пальцами из вытертого в обшлага рукава, а другой рукав, пустой, чуть подергивается в кармане, не угадывая музыку:

Барыня, барыня,
Сударыня барыня.

— Поддержите, — обращается Андрей к соседу. Хотел сказать «дядя Паша» по привычке, но поправился: Павел Иванович.

Паша выходит вразвалку, немного морщится — ритм не тот! И мелким бесом вприсядку, под другой перебор, с озорной частушкой своей молодости:

Меня Питер опозорил,
Но уж и я его срамил...
Вдоль по Питерской заставе
Босиком домой ходил!..

Правый стоптанный шлепанец несколько раз спадал с ног, и Паша в сердцах запнул его под диван: не мешай, коли час настал.

Отец входит в переиляс, выбеленные волосы потемнели — жарко! — только бабка с осуждением шепчет в сторону:

— Эва, веселье разобрало... В молодости не нагулялся, под старость наверстывает, прости господи, — и украдкой крестится.

Небольшой перерыв — пока отдохнет Коля. Спутались на влажном лбу посоленные сединой волосы и наискосок — синюшная, узловатая вена. Андрей ждет вместе со всеми. В затуманившемся нутре живет, рвется наружу еще не звучавшая сегодня мелодия:

Глухой, неведомой тайгою...

Подхватили враз, и старательнее всех — мать, грудным, бархатистым голосом, но после первых строчек вдруг ударилась о стол, зарыдала: — Васенька-а-а-а... Умолкли. Вспомнили, что пет за этим весельем еще одного, о ком на время забылось. Только у матери жила и ныла боль еще по одному — среднему сыну, валившему сейчас уральский лес.

Неловко начали утешать и засобирались, заторопились гости домой. Один отец остался на месте:

— Не к месту печаль, да что поделаешь — мать. Всем

нелегко. Давай, сын, за Ваську! — отец потянулся к бутылке, но Андрей удержал его руку.

— Хватит.

— Не понимаешь ты...

— Понимать не хочу. Спровадил ты Ваську в тюрьму своими дурацкими поучениями: никого не бойся, сдачу не задерживай...

Отец сузил глаза:

— Вот ты, не думал я, сын, что такое обвинение ты прямо в лоб мне закатаешь. Я войну прошел — понял? Моложе тебя был, когда мерзлую землю зубами грыз... — Он пьяно заскрипел зубами, застонал. — Я видел, как немецкие овчарки человеческое мясо рвут, и хотел, чтобы сыновья мои были сильными, слышишь? Чтобы не боялись ни черта, ни дьявола, ни овчарок — и он рос таким. На таких, как он, мы в войну выстояли, и ты его не трожь!

Отец помолчал, потом заговорил спокойнее:

— Недосмотрели мы, да что поделаешь. Обидно, что сидит он за какого-то подлеца, чью вину на себя взял, но горжусь, что не предал, не стал чужой бедой свою свободу покупать. Он себя как человека испытал, а это ценить надо! Ничего, выйдет. Клейменный он теперь, правда, в любой беде первому ответ держать, но мы должны помогать ему. Главное, не сломили бы его там. Это ведь очень легко, а он еще будет нужен всем нам, он смелый и честный.

Отец устало потер кадык.

— На упреки твои — не обижаюсь. У каждого — своя дорога. Важно, какая душа у человека, а не клейма, какие у него в бумагах наставлены. Делай свое дело со спокойной совестью. Мы с матерью посоветовались, дедко Трофимов помер, так его комнату обратно себе отхлопотали. Живи, занимайся, отдохни месячишко, а потом на работу.

Отец посидел еще немного, потом ушел на улицу — подышать. Андрей прошел к себе — в свежееклеенную пестрыми обоями комнатку, прилег на старенький диван, закинул руки за голову.

Сбылось то, о чем мечтал всю службу: он был дома. Но наяву все казалось обыденнее и проще, словно и не было разлуки. Те же стены, те же разговоры и заботы. Вспомнилось детство, но впечатлений осталось немного.

Помнилось то, что переживалось трудно и больно: домашние ссоры, обиды.

Дома часто были гости — случайные знакомые отца, встреченные им за стограммовой стопкой в привокзальной «забегаловке». Помнились их разговоры вперебой — о войне, о трудностях жизни, судорожные удары в грудь и мутный, бессмысленный взгляд.

Это были те, кто ослаб, чьей энергии не хватило до конца. Сквозь дым, грязь, страх несли они мечту о великом дне, когда не надо будет встречаться со смертью, мокнуть в окопах, тревожиться о близких. И этот день настал. Но с победой не пришло облегчения: полуголодная, разграбленная земля ждала человеческих рук, чтобы начать все сначала: строить, жить, недоедая, недосыпая. Сильные брались за дело, те, кто ослаб — пили. Пили, пытаясь забыть неустроенный быт, рваную солдатскую шинель на плечах, изувеченное свое тело. А когда начинала мучить совесть, пьяно кричали: «Мы свое дело сделали, пусть другие попробуют...» — и скрипели зубами. Среди них был и отец.

Трудно детям судить родителей, да и как судить, если человек не смог до конца выполнить то, что ему выпало, если жизнь оказалась сильнее его воли.

Дети росли сами по себе — шумное разношерстное поколение послевоенной окраины. Возились с оружием, подрывали на кострах найденные в поле гранаты, получали увечья, дрались, воровали, убегали на товарняках из дому и попадали в детприемники, убегали снова и медленно исподволь утихали. Кто после армейской службы, кто у кровати с потомством, а кто и за глухим бревенчатым забором с ровными ниточками колючки. Сейчас там был брат. Сбылось мрачное пророчество деда Трофимова: «Не сносить сорванцу головы, шустер больно». Васька рос бойким. Второй в семье, был он любимцем отца, видевшего в нем свою удачу, способность свершить то, что не удалось самому. Года три было Ваське, когда пришел он в слезах к отцу жаловаться на кого-то из соседских ребятшек. Вместо сочувствия, отец снял ремень и выпорол его. Сказал коротко:

— Сначала сдачу дай, а потом иди жаловаться...

Васька урок понял и больше не жаловался. И ни в одной драке, — а было их у ребят на окраине не сосчитать! — не отступал. Однажды с разорванным ухом, пере-

битым носом, весь залитый кровью, приполз к дверям, а сил отворить их уже не было. Долго допытывался отец — кто так постарался над ним — Вася молчал. Дознались случайно через год, что один ходил в Заречье выручать своих украденных голубей. Зареченские ребята испокон веков враждовали с подлесными, но после того случая замирились и голубей всех вернули. Оказалось, что на следующий день Васька к ним снова пришел и снова один. Бесстрашный рос. Класе в четвертом подарил ему отец книгу «Тарас Бульба» — большую, в синем коленкоровом переплете. Сказал:

— Учись, сын. Ты — мой Остап.

Андрей с ребятами не водился. Забившись куда-нибудь в уголок, читал книжки или бродил по полям, удивляясь, как много интересного в маленьком полевом цветке, и даже потрескавшиеся разводья на потолке превращались перед сном в дремучие джунгли, по которым он путешествовал до тех пор, пока не закрывались глаза.

Как справедлива была бы природа, разделив между братьями поровну то, что было дано каждому в отдельности!..

В дверь заглянул Витька:

— Андрюш, а кто сильнее, танк или самолет?

Внимательно выслушал, выбежал в коридор и загудел, изображая взлет.

Осторожно, на цыпочках, вошла мать. Андрей закрыл глаза, будто уснул. Мать присела сбоку, посмотрела на сына. Вроде подрос, а все такой же. Только лицо позагрубело. Все в них — в детях. Из пятерых только дочки-двойняшки на своих ногах, замужем. А этот хоть и старший, армию отслужил, учителем отработал, а все равно неприкаянный. Она нерешительно потянулась к голове сына, но в последний момент удержалась: взрослый, теперь уже не приласкаешь как маленького. Она посидела еще немного и ушла.

Андрей открыл глаза. Сколько раз там, в армии, вспоминал он мать, жалел ее и думал, что по приезде обязательно обрадует — не подарком, нет, просто тихо приласкается, как когда-то в детстве. Не вышло. Опять какая-то затаенная стыдливость, как тогда, на выпускном вечере в техникуме. Ему — отличнику, диплом вручали первому, а мать сидела где-то в последнем ряду, смущенная, зардевшаяся, и когда ее поздравили, поднесли цветы — за-

плакала от радости. Это был лучший день ее жизни, ее вершина, ее торжество, а сын отошел в сторонку и полыхал краской, стесняясь ее неловких слов, ее старенькой застиранной кофточки...

«У матерей сердце в детях, а у детей в камне» — неужели верна эта древняя как Русь поговорка?

2

После завтрака Андрей взял пилу, топор, рубанок, принес ворох досок и до позднего вечера мастерил вдоль стены стеллажи. Потом сколотил два больших подрамника, отремонтировал старый мольберт, несколько тяжеловатый, но удобный и устойчивый. Потом перетащил на стеллажи книги, разложил многочисленные папки с рисунками, этюды, чистые листы подготовленного картона, повесил гипсовые слепки античных богов, приобретенные по случаю еще в студенчестве — и комната стала мастерской... Надо было браться за дело.

Отдельно лежали три большие папки. Были в них наброски, зарисовки к задуманной большой картине, о которой Андрей еще никому не обмолвился словом, но думал только о ней. Набросков было много: карандашные зарисовки, этюды в цвете, рисунки на бумажных клочках и ватмане, несколько холстов. На них — портрет Коли Фурьева, играющего на гармошке, Витька, увлеченный разговором с друзьями, портрет жены командира с ребенком на руках, сделанный на службе, и еще множество фигур — стариков, женщин, детей.

Последний год он думал о сюжете. В тесном, по-весеннему неопрятном дворе деревянного дома стоят люди — старик, солдат на костылях, три женщины, в окне — удивленный, заспанный, голубоглазый мальчуган, рядом — молодая, полуодетая женщина с ребенком на руках. У крыльца безногий человек яростно рвет алые мехи потрепанной, издавшей виды гармонии. «Окраина, 9 мая 1945 года» — так называлась картина.

И нужно было передать образ России, войны, трагедии, надежды в этот величайший из дней XX века, день, которым люди жили, в который верили четыре труднейших года, и этот день пришел. За каждым человеком должна стоять своя, особая, неповторимая судьба, — и Андрею казалось, что еще немного, еще один набросок, —

и он найдет окончательное решение. Еще немного — последнюю компоновку, последний эскиз — и пора переходить на холст.

«Ничего, учитель,— подумал он о Петре Петровиче Баскове, своем первом и единственном наставнике.— Будет картина. Десять, двенадцать часов в день буду сидеть, а к концу зимы сделаю до конца...»

Хрустнули в суставах резко выпрямленные руки. Андрей сдвинул вырезанные из бумаги контуры фигурок: как лучше поставить этих четверых в центре — и потянулся за карандашом.

Как-то за обедом мать, спохватившись, вспоминала: — Игоря видела. Он так обрадовался, что ты вернулся. Хотел в воскресенье зайти, или, если можешь, сам забеги к нему... Он за рекой сейчас живет.

— Знаю,— нахмурился Андрей.— Был у него перед армией.— И рассердился на себя, что не вспомнил раньше. С Игорем дружили с детства, и были у них общие книги, мысли, мечты... Андрей вышел в переднюю — одеваться. Мать шмыгнула следом, украдкой сунула пятирублевку.

— Возьми на автобус,— сказала громко, чтобы слышал отец. Сын кивнул головой, поблагодарил.

Декабрь поддавал морозцем. Уши быстро мерзли, начало пощипывать и пальцы ног.

Андрей заскочил в магазин. Прищурился от ярких огней, заглянул в витрину. Кто-то сильно хлопнул по плечу. Оглянулся — из-под лохматой шапки нос горбинкой, а под ним черная щепотка усиков. Сережка Буров, одноклассник по техникуму.

— Салют, старик! Отстрелялся уже?

— Вернулся.

— Работаешь где?

— Пока нет...

Сережка фыркнул, откинул высоко поднятый шарф.

— Слушай, дед: могу работенку состряпать. К нам в дом культуры оформителем. Сто двадцать в месяц — это, чтобы жевать было на что, а смекаешь — подработать много больше можно. Кормушка хорошая — надо бы своего человека.— И, не давая ответить, закончил: — Ты подумай, а потом позвони. Сейчас спешу, извини. Двадцать пар у нас расписывается — обалдеешь. Ну, давай.— И он стремительно кинулся на выход, размахивая голубой

аэрофлотовской сумкой. Андрей помялся перед витриной, выбрал бутылку сухого и шоколадку.

На звонок вышел сам Игорь — немного растерянный, с распаленным лицом, словно оторвался от тяжелой работы.

— Явился наконец, — даванул он руку Андрею. — Проходи, раздевайся. — Натянуто кашлянул и сказал в комнату: — Тоня, Андрей пришел...

Вышла жена — крупнолицая, приземистая, с сыном на руках. Поздоровалась радушно, но в голосе оставалось что-то сердитое, невыкипевшее.

«Ссорились, паверное», — подумал Андрей.

Он щелкнул пальцами и протянул ребенку шоколадку, но тот смотрел букой и жался к матери.

На кухне что-то затрещало, зашипело, и Тоня ловко накинула на стол праздничную скатерть. Немного погодя поставила сковородку.

— Садитесь, обедайте, а мне на работу. Перерыв давно кончился, ты уж извини, Андрей. — Она накинула шубку, торопливо чмокнула в щеку сына.

Дверь захлопнулась. Андрей вышел в прихожую и вернулся с продолговатой зеленой бутылкой. На столе уже стояла такая же. Игорь подмигнул лукаво, и друзья расхохотались.

— Как положено...

— Черт знает, — пожаловался Андрей. — Раз встреча — значит, обязательно выпить. В гости без бутылки уж не ходят.

— Кончай оправдываться. Сегодня сам бог велел — столько времени не виделись.

— Давай, солдат, рассказывай про жизнь. Писем о себе не писал, а у меня сам видишь, перед глазами все. Газета выматывает, но ничего, привык.

— Что говорить, — задумчиво протянул Андрей. — Служил до самого конца связистом — это ты знаешь. Долго вроде, а вспомнишь — одним днем пролетело. А в остальном — вроде так все и осталось.

Игорь захохотал:

— Помню, как ты после техникума петушился. Уеду, мол, в деревню — там раздолье. Языки выучу, в Академию подготавлиюсь, картины напишу...

— Все правильно, — смутился Андрей. — Я и сейчас не отказываюсь, только на все иначе немного смотрю.

Тогда ведь двадцать годочков было — чего спрашивать? В деревне я подразвинулся. Сам над собой полный хозяин. Делаешь лишь то, к чему душа лежит. Я ведь в школе всего пятнадцать часов в неделю вел. Читал, на этюды ходил — да вяло все как-то. Программа жесткая нужна, чтобы иногда через «не хочу» работать, люди нужны, которые бы своим интеллектом подавляли, заставляли до себя тянуться. А я байбак байбаком жил. Бывало, посевная в разгаре, а я с умным видом за этюдником стою, березку оживающую набрасываю или прошлогодние листья собираю, чтобы тона их пожухлые уловить. Мужики глядят ехидно, посмеиваются — за дурачка некоторые считали. Так и забросил. Зря, конечно, и для глаза, и для руки много потерял. Картину задумал — «Собрание родовольцев» — литературу собирал, эскизы делал. Тоже не получилось, типажей найти не мог подходящих, студенческого вида. После, уже на Севере, когда служить начал, дошло до меня, что людей-то я там и просмотрел. Бунина читаю — а вместо Захара Воробьева бригадира колхозного вижу — Антипа. Осанистый, кряжистый такой мужик, чернобровый — разбойник с виду, а добряк был редкий. Бабка Феня, хозяйка моя, интересная была. Синева — та к старости выцветает, водянеет, а у ней глаза карие были, молодые. Нет бы попросить попозировать часика два — куда там, стеснялся. На службе только дошло до меня, что потерянного не наверстаешь. Там работал много. Как свободная минута — я за кисть или карандаш. У Кильдина скалы есть — «Три сестры» — чудо! Краски на Севере очень сильные, богаче их вряд ли где найдешь. Как на рейд встанем, когда на кораблях на учения вывезут, я с тех скал глаз не свожу. Одна — добродушная такая толстушка, вторая — вялая, мечтательница, а третья — бой-баба. Прямо Васса Железнова. Чего ни говори, а камень — вещь впечатлительная. Желание работать сразу появлялось, силы откуда-то брались... А времени-то как раз и не было.

— Вспомнил, — рассмеялся Игорь, — на выставке тогда ты портрет отца выставил. Яркий такой, стилизованный — помню, один студентик с пеной у рта доказывал друзьям, что в будущем будет только такое — сплошная символика.

— А чего, неплохо было, — хмыкнул Андрей, — только чужое все: под Матисса, Ван-Гога, под Пикассо одно-

временно хотел сработать — винегрет какой-то. Если бы сам до всего додумался, кто его знает, может, открытием бы было. В книге отзывов запись потешная была: «Молодого Замахина отец в детстве, видно, редко порол». Как вспомню — смешно делается...

— Ерунда. Главное — научиться так работать, чтобы хоть немного, да нового, необычайного людям сказать. Браться за дело — так примеряться гору свернуть, не меньше, иначе собираться не стоит. А шутники пускай забавляются...

— И будут, Андриюшенька, будут. Пророков-то в своем отечестве не бывает — вспомни. А каждый из нас в молодости думает о своей собственной исключительности — так как же ему с другими примиряться? Так что привыкай, все еще впереди.

Игорь закурил, сел на подоконник.

— Давно я с тобой хочу серьезно поговорить, да все случая не было. Хороший ты парень, только замахи-ваешься очень уж далеко. Это неплохо, только бойся переоценить себя. Восприятие ведь имеет много общих точек с самим творчеством, что-то вроде сопереживания, — и, поняв мастера, мы первым делом себе в заслугу ставим — вот какие мы умные! На две головы вырастаем, будто сами создали, а на деле лишь разжеванное проглотили. Увы! Горы ворочают гении, а это слишком редко, сам знаешь. Мы по самой сути жизни не гении, потому что инстинкт прячет нас от максимальных трудностей, психика перегрузкам не подвергается, как, допустим, у Достоевского было. И еще по манере трудиться мы не гении. Учиться всерьез не умеем, до истоков не докапываемся, а берем только выводы. Истины веков в готовом виде усваиваем, просто все кажется и доступно, а ведь у каждой истины впереди было тысячи сомнений и ошибок. Их мы не знаем, и отсюда — все возможно, все легко достижимо. Истинный талант, по-моему, это ощущать потолок своих возможностей, как рыба верхний уровень воды чувствует. Ощутить — собрать все силы и превзойти его, вот тогда открытие будет...

Андрей возразил:

— Ты зря думаешь — я ведь не рвусь вверх. Просто сейчас для меня до самой смерти иного дела нет и быть не может. Не надо мне ни денег, ни славы — просто, чтобы кусок хлеба был и покой для работы. А там уж — что по-

лучится. Делать хорошо, как только возможно, чтобы кроме меня еще кому-то это нужно было. Эх, черт,— досадливо махнул он рукой.— Сбился с мысли. Я хотел сказать, что у каждого титана есть своя школа, свои последователи, которые дополняют его самого. И в любом случае я прав, достигну чего или нет,— а вот доказательство ускользнуло...

— Да нет, ты немного не так понял,— перебил Игорь.— Я ведь тоже за тебя, работай, пожалуйста, больше. Только не думай сразу гору свернуть. Когда годы проходят и гора не двигается, сомнение приходит, можно ли ее вообще сдвинуть. А мелкие камешки носить уже унижительным кажется. Лучше уж сразу за камешки взяться, чтобы хоть и не очень большой, но свой холмик насыпать — так надежнее. Так что,— Игорь вернулся к столу,— давай поближе к земле, мировых проблем решать не будем. Работать где думаешь?

— Не знаю,— пожал плечами Андрей.— По дороге Бурова встретил, предлагает к ним оформителем...

— На первых порах неплохо бы...

— Неплохо-то оно неплохо, да не люблю я Серегу. Не хочу иметь с ним ничего общего. Недалекий он человек, да и нечистоплотный, не люблю таких. Извини, конечно, вы ведь вроде друзья...

— Каждый живет как может. Быть руководителем заштатного оркестра для тебя, может, и мелковато, а он доволен. Надо ведь и отдохнуть от всяких мыслей человеку — вот и идут нарасхват эстрадные оркестры. Серега — человек неплохой, трепло только. Любит похвастаться, что делает мало, а денег получает много. Он определил свои способности и запросы соответственно им построил. Ему жить легче...

— Ну его к черту,— решительно сказал Андрей.— Было бы о ком говорить. Пусть живет...

— Все живут,— согласился Игорь.— По-разному только. У одного всю жизнь все гладко, на другого беда за бедой. Я Петра Петровича вспомнил,— пояснил он,— редкого ума и таланта человек, а крылья сломаны. Врагу такой беды не пожелаешь — единственного сына двадцатилетним схоронил.

— Да,— согласился Андрей,— удивительно, как он пережил это?

— Пережил ли? Почернел весь, высох. Они с женой

сейчас уехали, как вернутся — павести стариков. Им одним теперь век доживать...

— Схожу,— согласился Андрей.— Я ведь ему всем обязан.

Они помолчали, думая каждый о своем.

— Ваську он вашего любил,— вспомнил Игорь.— Все пороги после суда пообивал, пересмотра дела добивался.

— Да,— вздохнул Андрей,— жалко братана, три года из жизни вычеркнуты.

— Сам дурак,— отрезал Игорь.— Не надо было в драку лезть, а то еще милиционеру по уху съездил.

— Да не он же съездил,— устало объяснил Андрей.— Копосов Валерка ударил, а было темно. Участковый упал — увидел, что Васька тут. А у Копосова жена в роддоме, жить не на что, вот Васька и не стал его выдавать. Валерка этим летом сам отцу признался, спрашивал, с повинной идти или нет? А батя его выгнал. А сейчас он на Балтику подался — в рыбаки, так Ваське и сидеть за друга.

— Ну и все равно дурак,— коротко отрезал Игорь.— Сам себя не смог защитить, пусть рассчитывается.

— А ты бы выдал?

Игорь смутился.

— Ну, выдать не выдал, но и на себя бы брать не стал — пусть бы искали. А если бы тот умышленно вдарил, то и выдал бы — умеет шкодить, пусть умеет и ответ держать.

— Про умышленное никто не говорит. Пожалел он Копосова, пацаненка его пожалел — куда бы жена девалась, если бы посадили Валерку? А что тот подлецом оказался, так Васька не виноват.

На том расстались. Снова опухнул морозец, но теперь легкий, бодрящий, и привольно, радостно было шагать по заснеженным улицам.

3

Работа над картиной подвигалась медленно, но все же перед Новым годом был сделан общий этюд — в цвете.

Еще не вставало солнце, и приветливая предрассветная лазурь щедро плескалась в левом углу картона, отсвечивая на оживленно-радостных лицах людей, на нежных стрелках раскрывшихся почек деревьев. Справа вверх

ху оранжевела крохотная точка Марса, разрушая тягостное однообразие серовато-голубого холода уходящей ночи. Небо Андрей прорисовывал несколько раз, но не был доволен. Краски зимнего рассвета были сдержаннее, спокойнее, и тона пришлось класть по памяти. Андрей чуть усилил свет в коридоре за спиной женщины с ребенком и, положив последний мазок, бросился на койку.

— Шабаш! До конца года отдыхаю, а там за холст.

Искося посмотрел на картон.

Кажется, рассвет схвачен и бог войны к месту пришелся. Маленькая точка, а такую махину света уравнивала. Он довольно засмеялся и потер руки. С этим, пожалуй, и к Петру Петровичу не стыдно показаться.

В глубине души Андрей еще не верил в себя полностью. Для веры требовалось признание — небольшое, но все же признание знатоков. Его могла дать только картина — законченная, цельная. Мысли легко переключились на будущее. Грезился успех выставки, заказ от какого-либо издательства на иллюстрации — привольная, независимая жизнь в какой-нибудь глухой деревушке и работа — вдохновенная, радостная...

Старого года оставалось четыре дня, их без остатка поглотило безделье. Андрей уходил за город, бродил по обветренным проселкам, по безмолвным, пустынным полям и отдыхал, ни о чем глубоко не размышляя. О картине вспоминал мимоходом, всегда хорошо: ее еще предстояло сделать, но уже все многообразие задуманного в сюжете, композиции, цвете представлялось достигнутым. На душе было легко, просторно.

Но вот нечаянно услышал, как мать советовалась с отцом, где бы занять до получки. Ожило враз тревожное чувство долга, решил искать работу. В школу идти не хотелось, а другой специальности не было. Андрей подумал — надо после праздника сходить на завод.

Последний день года кипел хлопотами. С утра наряжали елку — высокую, с сочно-зелеными иголками, густым, бодрящим запахом, что жаль было завешивать ее игрушками. Витька вертелся под ногами и радостно запрыгал, когда брат включил гирлянду. Украдкой Андрей сунул под елку оранжевый планетоход — подарок от Деда Мороза — и закрыл его ватой. Найдет вечером, обрадуется. Второй такой же планетоход завернул в газету — Ивану.

Вечер — настоящий новогодний, искрил мириадами блесков, разбивших сумеречную синеву. Мелко порошил снег — погода отмякла, подобрела, и с нею подобтели спешащие прохожие. На лестничную площадку пробивалась ритмичная, порывистая музыка. Вздогнул звонок. Дверь распахнулась, и немного захмелевший Игорь театально простер руку:

— Ждем только вас, милорд. Грешным делом, начинаю думать — не заблудился ли?

— Рано еще...

— Это кому как. Мы уже с томичами встретили, теперь со свердловчанами чокнулись. Не виноваты же мы, что судьба не выпала там жить... Он подтолкнул гостя в комнату.

— Подожди ты, — зашептал Андрей. — Вот возьми Ивану, сунь незаметно под подушку или еще куда...

— Иван у бабки, вернется — подарю...

Знакомых в комнате оказалось всего двое: Тоня и Буров. Они сидели рядом — на торце стола. С появлением нового человека болтовня стихла, только магнитофон выталкивал лихорадочную дробь эстрадного ударника. Дружно прокричали стандартную «штрафную» — и обожгла горло едкая влага, теплой волной разлилась по телу. Тоня махнула рукой, пригласила на свободный стул рядом. Андрей сел между Тоней и незнакомой, чем-то опечаленной девушкой, чуть дальше сел Игорь. Андрей торопливым взглядом окинул гостей. Молодые, видимо, хорошие знакомые, они были в чем-то похожи друг на друга, особенно девушки. Высокие прически из рыжеватых, чуть подкрашенных волос, чуть тронутые синим верхние веки, гладкие, ярко расцвеченные платья. Сразу забылось, кого как зовут. Андрей запомнил только соседку: Валя.

Буров — в голубой рубашке, без галстука, расстегнутый, потянулся к гитаре.

— Ну-с, что вам изобразить?

Зашумели:

— Давай, Серж, давай, дорогой... «Очи» давай...

Магнитофон смолк. Буров откинул голову, небрежно перебрал струны, запел протяжно и томно:

— Па-а-а-бы-ча-ю, старо-руско-му...

Он пел медленно, словно любовался своим голосом,

своим ложно-цыганским выговором, потом резко тряхнул волосами, рванул струны. Пятнадцать голосов в одном порыве выплеснули:

Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные...

Ноги невольно задвигались в такт нехитрой мелодии, и топот слился с аплодисментами, вскриками.

Андрей молчал, и было в молчании что-то неловкое, обременяющее. Нужно было о чем-то говорить, но все, что приходило в голову, злило своей серьезностью и неуместностью. Злился он на собственную мешковатость, неумение раскинуться легко и свободно, неспособность отыскать в памяти пару легких, смешных фраз — всего этого не было приобретено в молодости.

Перегнулся через стол Буров, захмелевший, нарочито-веселый. Спросил — надумал ли Андрей, и загорячился:

— Не сомневайся, капитально устроим. Культура сейчас, старик, главное в жизни, двигать ее надо. Хлеб духовный, так сказать...

— Нет,— отказался Андрей.— Что-то поосновательнее надо, посмотреть побольше...

— На хрена тебе где-то вкалывать, когда у нас наблюдай, сколько влезет. Народ такой, что не соскучишься.

Он расхохотался и неожиданно зевнул.

— Хозяин — барин. Не хочешь — не надо. Давай, возвращай свое художественное чутье. Пристраивайся лучше пораньше, под старость кусок хлеба...

— Это больше по твоей линии,— тихо проронила Валя.

— Не с тобой говорят,— резко оборвал Сергей и полез к магнитофону сменить ленту. Девушка повлажнела глазами. Снова забарабанил ударник. Андрей тихо дотронулся до плеча Вали. Они поднялись.

Сквозь шутки, смех, музыку, голубые клубы табачного дыма сочилось веселье — обычная, похожая на множество других вечеринка.

В одну из пауз Игорь развернул планетоход. Машина загудела, по выпуклому матовому стеклу побежали огоньки, и планетоход покатился через комнату. Уперся по дороге в стул, взревел, развернулся на месте и покати́л в сторону, отталкиваясь от попадающихся препятст-

вий. Гости сбились в кружок, подставляли ноги. Машина с урчанием выбирала свободное место и катилась дальше.

— Соображает, чертовина. По радио управляется, что ли?

— Да нет,— протянул кто-то из знающих,— обыкновенный реверсивный моторчик. Нагрузка возросла — так или на задний ход переключается, или вбок сворачивает.

— Как живая...

Машина продолжала ездить по комнате, а из включенного на полную мощность радио зазвенели куранты. Выстрелило шампанское. В суматохе наступили на машину — пластмасса хрустнула, и матовый полукруг вывалился на пол, обнажив алюминиевый диск с множеством дырочек. Андрей с досадой поднял игрушку. Мотор был цел, но корпус раскололся.

Валя сочувственно посмотрела на обломки:

— Может, склеить можно?

— Трудно. Тонко очень. Если только пластырь изнутри положить, да все равно не то. Ивана жалко — обидится на Деда Мороза...

— Обманули, подумает...

Андрей нечаянно заглянул в глаза. Валя встретила взгляд спокойно, но тут же смутилась, поникла.

— Скучно здесь?

Она отмахнулась:

— Не хотела идти, да зря и согласилась.

— Исчезнем,— неожиданно предложил Андрей.— Сейчас на улице интереснее: снежок, огней множество...

Валя нерешительно согласилась.

Высеребрилась луна — чуть ущербная, в радужном переливающимся ореоле. Тихо хрустел снег. Почти все окна в домах были освещены.

Андрей украдкой наблюдал за девушкой. Он вспомнил ее глаза, подумал, что в жизни ей тоже несладко приходится. Хотелось подбодрить, немного отогреть настороженную девичью душу, но было не время. Так ходили они почти до рассвета — молчали и ходили. Расстались у деревянного, чуть приклонившегося домика: он с неохотой, она с каким-то облегчением. Не оглядываясь, вбежала в подъезд. Ненадолго зажегся свет в узком, с сиреневыми занавесками окне, и все.

Машинально захватывая комки пушистого снега и бросая по сторонам мягкие, пахучие снежки, шел домой

Андрей. И перед глазами — другие глаза — чистые, тихие...

Уже теплился огонек на кухне. Подпершись кулачком, о чем-то думала у окна бабка. Андрей остановился, постоял, что-то соображая, и бегом по лестнице вверх. Схватил альбом, карандаш — и в кухню.

— Поел бы, — ласково попросила бабка.

— Потом... Ты пока посиди — вот так, — Андрей поставил табуретку к столу и показал, как сесть. — Порисую я немного... Старуха шевельнула завалившимися губами:

— На что я тебе, старая? Печек сморщенный, а не человек...

— Ты сиди, знаю на что... Расскажи лучше что-нибудь, только руку от подбородка не отнимай.

— А про что тебе говорить?

— Про что хочешь... Историю какую, как молодая была...

Бабка задумалась.

— Нет. К слову не приходится, а нарочно не вспомнить. Да ты слышал... — Сухой надрывистый кашель надолго забил ей грудь. — Ох-хо-хо, — давилась она в платок, — замучил бронхит проклятый. Ой, ребята, не форсите, одевайтесь теплее, пока молоды. Я тоже горячая была, не берегла здоровье — видишь вот.

— Расскажи, отчего ты кашляешь так.

— Да издавна. Еще до войны тресту в район ездили сдавать. Морозище — лед на реке трещал. А Груня-напарница, царствие ей небесное, еле губами перебирает. Помираю, говорит, Маша, моченьки нет. Она с утра на температуру жалилась. Будь здоровой, побежала бы за санями, нагрелась, а тут что делать? Я с себя тулуп да на нее, да сена под бока напихала. А сама тридцать верст в одной душегрейке. К дому подъехали — ни руки ни ноги не разогнуть. Груня наутро здоровехонька, а я вот всю жизнь грохаю. — Она снова зашлась кашлем.

Андрей плохо слышал, что говорила бабка. Конечно — не парнишка в окне, а старуха мать, именно так: немного поникнув, с робкой надеждой смотрит на разливающееся веселье. Конец войне, может, и ее сыновья все же живы, может, еще вернутся?

Но портрет получался плохо — подводила рука. Андрей ушел спать, а под вечер снова выбрался на улицу. Словно невзначай остановился под Валиными окнами,

потом прошелся вперед, остановился, посидел на лавочке у тополей. Приходил он сюда еще раза два, сидел с безразличным видом, но в душе стеснялся каждого прохожего. Казалось, что все знают — кто он и почему сидит недалеко от этого дома.

На четвертый день после праздника пошел устраиваться на работу на молочный завод, что стоял неподалеку от дома и откуда чуть свет ежедневно разносилось фырканье машин, звяканье посуды в железных корзинах, выкрики грузчиков. Директор — внимательный, деликатный, расспросил о службе, о планах, развел руками, извинился:

— Сейчас только грузчиком могу предложить. Тяжеловато, но с перспективой где-то через год. Поосмотритесь, привыкните — тогда и поговорим. Норма сейчас у нас — четыре тонны в день на человека. Погрузить, выгрузить, в магазин занести — все вручную, конечно. С тонны — рубль шестьдесят. Если будете один работать — двадцать пять процентов доплаты за экспедитора. Устроит?

— Вполне.

— Выходные — в субботу и воскресенье по графику, в остальные дни — когда пожелаете.

Директор вышел из-за стола, подошел ближе.

— Народ у нас сложный, постарайтесь плохое не перенимать. Человек вы молодой, все впереди, так что поберегите себя. В чем трудности будут — прямо ко мне обращайтесь.

Времени стало в обрез. Поднимался Андрей рано. Работать торопился — грузил полную машину, забирал все одним рейсом. Сначала — в два яруса фляги, за ними — корзины с бутылками, ящики с творогом. На согнутых в локтях руках носить было неудобно — по вечерам припухали и ныли мышцы. С непривычки болел живот, словно нечаянно проглотил он кусок резины и не может от него избавиться. Костя Журавлев, шофер, догадался, посоветовал:

— На животе бидоны не таскай, сорвешь...

При разгрузке многое приходилось переставлять с места на место, да и участок попался неудобный. К половине магазинов нельзя было подъехать к самому крыльцу, и времени на разгрузку уходило много. После обеда собирали порожнюю посуду, завозили ее на завод, и где-то в

четвертом часу Андрей приходил домой. Умывался, немного дремал на диване, потом либо брался за кисть, либо уходил к Вале.

Ее он все-таки встретил в одно из вечерних дежурств. Подошел, нарочито подивился неожиданности встречи, а потом сбивчиво и неумело договорился о новом свидании. Встречались они через день — ходили в кино, разговаривали, — и привыкли друг к другу. Судьба свела двоих — обыденно, без потрясений, и мир для них сузился.

И хотя все реже Андрей вставал к мольберту, все-таки перенес на холст контур рисунка и прописал синеватой темперой — яичным белком с добавлением ультрамарина, воды и уксуса. Исподволь накладывая друг на друга топкие, чуть меняющиеся по тону слои краски, подвигал Андрей картину.

Иногда гармонии не получалось — он мучился, злился на себя, бросал палитру и уходил куда-нибудь на улицу. Всматривался в людей, делал легкие наброски в блокноте, подыскивая удачные композиции фигур в толпе. Бывали вечера, когда прогулки вдохновляли — тогда он лихорадочно наносил мазок за мазком и не замечал времени. Остывал где-то под утро, накоротко дремал час-полтора, на работе сильно уставал. День казался бесконечным...

Незаметно проскочил февраль, разливался синевой март — подталый, пахучий, щедрее разливалось солнце, и словно подъеденный снизу, съежился, просел снег. Казалось, что скоро все в жизни будет иначе — стоит лишь закончить картину. Отбросив эскизы, прямо на холст написал Андрей бабу и был доволен. Получилось так, как он хотел, — живая, скорбная, ждущая чуда и не верящая в него мать. Одна она уже могла быть картиной.

Только в отношениях с Валею не приходила определенность. Какой-то скрытый надлом чувствовался в каждой встрече. Валентина часто задумывалась, молчала, ни с того ни с сего вдруг кусала губы и плакала, а потом аккуратно проверяла пальцем под веками — не смазались ли глаза. На вопросы отвечала неохотно, однообразно: так, просто грустно, при расставании иногда просила не уходить, то вдруг внезапно убегала домой.

Несколько раз был Андрей дома у Вали. Мать ее, поздоровавшись, тут же уходила на кухню или к соседям — что-то стояло между матерью и дочерью, и оттого любовь

казалась похожей на высокую пирамидку из детских кубиков — неловко трошь — и разлетится вдребезги.

Восьмого марта пошли они за город, в лес, дурачились, бегали по осевшим сугробам, бросались снежками, ослабевшими еловыми шишками, жгли костер. Валентина устало откинулась на плечо Андрею:

— Хорошо бы сейчас лето было... И цветы... Ромашки, васильки, подмаринник — всякие-всякие.

— Давай поищем.

— Давай, — загорелась она глазами и приняла игру. — Видишь, сколько чертополоха, — показала она на низенькие кустики шиповника, — это он колокольчики хочет задушить.

— Нет, там гвоздички.

— Нет, колокольчики.

— Гвоздички.

Андрей перепрыгнул куст, разрыл снег рядом с вогнутой еловой веткой и достал тщательно завернутый в целлофан букетик.

— Держи и никогда не спорь.

Валя села в снег, бережно расправила слегка подмерзшие, помятые лепестки. Подняла глаза:

— Знаешь, мне никогда не дарили цветов — вот так, неожиданно. Да и вообще, кажется, не дарили.

— Значит, некому было, а теперь есть, — отшутился Андрей.

Она помолчала, напряженно что-то решая. Потом заговорила:

— Ты не сердись, что я раньше не сказала... В общем, я уже была замужем.

Андрей вздрогнул, машинально пожал плечами:

— Ну и что? Я люблю тебя — остальное неважно, — а внутри что-то оборвалось, зануло.

— Важно, очень важно, ты сам знаешь. Глупая, какая глупая я тогда была. Год ведь уже прошел, как выскочила, совсем девчушкой... Господи, и чего надо было? Встретились, понравился — на танцы вместе ходили. Все заглядываются на него, а у меня внутри как бесенок сидел: радуйся, мол, какой парень привалил... Веселый, компанейский, легко так. Потом свадьба — весенняя, хмельная — как во сне. В моем ли? До июня только и прожили вместе. Школьный выпуск отмечали, собрались с девочками. Он не пошел — некогда было. Ну, пошутить

ли, посмеялись, спирту немного распили — принес кто-то для смеху. А меня скрутило. Ночь промучилась у подруги, иду домой вся разбитая. Звоню — он открывает дверь и без слов прямо в лицо кулаком. — Она мелко, нервно рассмеялась. — Я даже не заплакала. Взяла чемодан с вещами — и к маме. Он после мириться приходил, мать ругалась на меня — мало ли чего у мужа с женой не бывает? Нас в Новый год помирить хотели, я согласилась, а он напился. Я и ушла с тобой.

— Буров? — хрипло спросил Андрей.

Она кивнула:

— В доме отдыха сейчас массовика какого-то заменяет. Письмо недавно написал, к себе звал...

— А ты? — неловко спросил Андрей.

Она не ответила. Долго смотрела в какую-то далекую, невидимую точку, потом вспыхнула:

— А я не хочу, ни к нему, ни к тебе. Ты все равно уйдешь, знаю, обязательно уйдешь, так лучше сразу. Сама кашу заварила, сама и расхлебывать буду.

Она побежала к дороге.

— Валя! — крикнул Андрей. — Подожди. — Но она не обернулась и побежала наискосок по заснеженным змейкам, придерживая рукой воротник.

Андрей кинулся за ней и наступил на припорошенные снегом цветы. На душе стало мутно, что-то давило. Он не стал догонять Валу.

«Обиделась. Совсем еще ребенок, жалкий, беззащитный. И так ли уж сильно виновата, что крылья пришлось опалить? — напряженно размышлял он, шагая к городу. — Жалко ее, да ведь жалость быстро притупится, если придется вместе быть. А это, это останется... Эх, если бы кто другой, кто угодно, незнакомый. — Он вспомнил Бурова, скрипнул зубами и в лад мыслям затряс кулаком, что испуганно отшатнулся одинокий встречный.

— Ай да Серега, ай да рыцарь... Заело голубчика. Как же, пренебрегли им, — в морду ей, для острастки, чтобы сразу знала свое место. По себе судил — знает, поэтому и жене веры нет. Куда-куда, а к этому долдону ей возврата нет...

Как назло, на работе участились простои. Ломались старенькие механизмы, и приходилось ждать, теряя время, которого так не хватало. Мужики невозмутимо играли

в домино, Андрей кипел и ворчал. Однажды он сорвался — накричал на главного инженера, мастеров, швырнул на стол накладные и ушел домой — грузите сами, а я до полуночи сидеть не буду.

Тогда ему сменили участок и график. Дали помощника — Митьку — здорового рыжего мужика, который работал раньше с Воробьевым — неопрятным, вечно хмельным экспедитором. Что-то вышло с Воробьевым и у Митьки, потому как при встрече они не здоровались. Работник Митька был хороший, опытный, и нередко случалось, что уже к часу дня выписывали они последнюю накладную и расходились по домам.

Грузиться начинали они рано — около шести, что очень не понравилось Воробьеву и его друзьям, раньше это была их очередь. Теперь они выжидали, когда Андрей выедет с завода, и только потом становились под погрузку.

Однажды Андрею потребовались чистые накладные: остановившись за воротами, он вернулся на завод — нет ли у кого. Воробьев грузился. Андрей заглянул в кузов, хотел его позвать. Воробьев не слышал — он выравнивал вдоль стенки корзины, которые стояли как-то странно: частью в торец, частью плашмя, и угол горбатился. На повторный зов Воробьев повернулся резко, подбежал к Андрею, загораживая спиной груз:

— Нету у меня ничего, — матерно выругался он. — С вечера заботиться надо...

Достав накладных, Андрей вернулся в кабину.

— Мудрит что-то Воробьев, — сказал он своему шоферу. — Вперекос все ставит, минут десять равнять надо.

Костя потянул из «бардачка» папироску, придерживая руль руками, чиркнул спичку.

— Заметил? — Он пожевал мундштук, выдохнул дым. — Я давно тебе хотел сказать, да думал, сам догадаешься. Ворует эта троица, и Анка, что на раздаче стоит, с ними. С чего, думаешь, каждый вечер пьют? Фляги четыре толкнут — пара червонцев в кармане. Это он для фляг место освобождал — ящики же с торца поуже, если ставить неплотно, много можно спрятать. А после выравнивать, как хороший каменщик кладку выравнивает. Сверху смотришь — все аккуратно, а вниз не залезешь. Анку мне жаль: толковая баба, чего сунулась? Боится, конечно, — как веревочка ни вьется...

— Неужели сделать никто ничего не может? Недостача ведь должна быть?

— А, парень, — махнул рукой Костя, — недостач здесь не бывает. Молоко колхозы тоннами сдают, принять на одну десятую жирностью пониже — вот все потери с лихвой перекрыты. А душу, конечно, мутит, когда на глазах наглеют, да еще и посмеиваются над тобой. Никто им здесь ничего не говорил, вот и распустились. Связываться неохота — пырнут еще в спину. Был тут по осени случай один — так и не нашли кто. Ты поосторожнее будь — не зря на тебя косятся, и график, считают, переделан неспроста. Спрашивали меня недавно — осторожно так, — не стукач ли напарник. Я ответил, да не очень поверили. И Митька твой мужик не промах — имей в виду.

— Видывали мы таких — внешне беспечно ответил Андрей, но сам насторожился.

— Мое дело предупредить. Я ничего не видел, ничего не знаю — дома пятеро по лавкам сидят, надо будет кому-то кормить их. — Впереди зажелтел светофор, и Костя резко нажал на тормоз.

— Сейчас они сметану тягают — дороже. И так около двухсот ведь выходит — все мало. Как помню, Воробьев за все время только пятирублевые штаны купил, да и то после пожалел — жаловался Сеньке, лучше бы пропить ее было. Сенька-то у него под пятой, а через Сеньку и Анка — они ж живут вместе.

Несколько дней присматривался Андрей к Сеньке и Воробьеву. Почувствовали, обозлились, но виду не подавали, даже наоборот, приветливее стали.

На полу фургона на газете стояла бутылка коньяку и рядом наломанная колбаса. Сказали, что Сенькин день рождения. Андрей взял стакан, повертел, чуть пригубил и засмеялся:

— Говорят, в наших краях коньяк теперь только одни воры пьют... — Краешком глаза покосился на перекошенные лица, добавил: — Спасибо, я непьющий, — и выскочил из кузова.

На следующий день Андрей на работу припоздал. В проходной клевал носом Журавлев — ждал своего часа. Андрей вытащил из кабины халат, протискиваясь в рукава, поднялся в кузов. Митька уже заканчивал погрузку. Улыбнулся редкими зубами — резко опахнуло крепким перегаром.

— Не ложился еще сегодня,— похвалился он.— Вчера с Сенькой немного поддали, да братан вечером приехал. Отгул хотел брать — да сегодня и так немного. В центр ведь не надо? Тогда одним рейсом справимся. Тридцать фляг взял,— так, кажется, заказывали.

— Так,— отозвался Андрей.— Неровно у тебя что-то, исправлю сейчас.

— Чего неровно,— осердился Митька.— Стоит, как всегда.— И в слабом свете прожектора его веснушчатое лицо казалось фиолетовым.— Поехали к складу быстрее...

Замахин начал считать фляги.

— Тридцать две получается,— дернул он за рукав Митьку.

— Где? — выругался тот.— Смотри,— и он начал тыкать пальцем в бидоны.

Андрей пересчитал еще раз — тридцать две.

Митька отстранил его рукой:

— Ша! Ты ничего не знаешь — грузил я один. Иди в склад, выписывай накладную. Копнут если — я отвечаю...

— Тю-тю,— присвистнул Замахин.— Давай-ка вытаскивай эту пару побыстрее, да не ерунди...

— Надо, понимаешь,— попробовал уговорить Митька.— Братан приехал, а до полочки еще неделя... Приспичило сегодня...

— Не понимаю,— отозвался Андрей и вытолкнул обратно на конвейер первую флягу.

Митька отошел, снял вторую и с силой швырнул ее к выходу, словно это была авоська с картошкой, а не пятидесятикилограммовый бидон. Андрей едва увернулся: фляга с треском ударилась о стенку и отскочила назад, отсвечивая смятым боком.

— Осторожнее, гад! — закричал Андрей. Митька не ответил, повернул в сторону нос и с ворчанием пошел в кабину. Раньше он тоже шоферил и по заводу обычно ездил сам, Костю не тревожил. Затарахтел мотор, Андрей ухватился за фляги, стал придерживать их, чтобы не свалились. Кузов тряхнуло.

«Вот дурень пьяный»,— подумал он,— но в этот момент какая-то неведомая сила толкнула его в спину, подхватила и понесла на выход. С шумом и треском сыпались на землю фляги, журчало льющееся молоко, что-то больно стукнуло в бок, по ногам.

Андрей испуганно втянул голову в плечи и откатился в сторону.

Машина провалилась задними колесами сквозь подмытый лед канавы и стояла, неуклюже задрав вверх светлые полосы фар. Беспорядочной грудой валялись на остатках грязного снега фляги.

— Ты что, паразит, делаешь? — закричал Андрей.

Митька ничего не отвечал, поднимал фляги. Андрей хотел помочь ему, но с трудом смог ступить на ушибленную ногу. В бухгалтерии он написал объяснительную и поехал в больницу.

Молодой врач повертел, пощупал ногу — больно или нет, — наложил повязку и выписал направление на рентген.

Рентген ничего не показал, но опухоль оставалась, и до конца недели врач выписал бюллетень.

Андрей повеселел. Неделя была как раз кстати — картину он уже почти заканчивал и думал, что в эти дни доделает обязательно.

4

Незаметно подкралась весна — ранняя, дружная и по-молодому бесшабашная. Еще только бочком, робко протиснулся апрель, а солнце уже прожгло огромные черные проплешины на полях, оголило косогоры с жухлой, прошлогодней травой. Земля линяла.

Денно и ночью тысячи ручейков и потоков несли реке свою мутную, щедрую дань. Ослабило, разъело по краям лед, и вода свободно бежала вдоль обоих берегов, окантовав зеленовато-синюю, со снежными россыпями ледяную полосу. Казалось, стоит лишь уронить сверху бревно, как эта ледяная лента лопнет и тотчас вздрогнет, придет в движение все холодеющее безмолвие.

На время ледохода через реку перекинули лаву — длинные, подвешенные на двух тяжелых канатах мостки, и, весело раскачиваясь, бегали по ней в школу ребятишки из заречного поселка. Река молчала. Уверенно принимала в себя большие и малые потоки, раздавалась в теле, отдыхала, словно готовилась к тяжелой работе, и с радостным нетерпением ждали этого часа люди.

И час настал. С вечера просыпало дождем, а перед рассветом вздрогнул, затрепал ледоход, всей мощью

запумела, покатила река. У старого моста за городом получилась заминка: льдины застревали между быками, громоздились друг на друга, пока не ломался затор, и веселой стайкой бежали по течению ледяные обломки.

С утра около моста, забыв про школу, суетилась ребятня. Двое стояли на кромке льдины и обрубали застрявший между сваями угол. Льдина вздрагивала от ударов, но держалась. Еще двое изо всех сил упирались в настил моста, чтобы сдвинуть льдину с места. Вдруг лом, не встречая больше сопротивления, выскользнул из рук и глухо булькнул под воду. Льдина поплыла.

С восторженными криками прыгали на нее с моста остальные, только один из тех, кто упирался в сваю, пытаясь двинуть льдину с места, не успел отцепиться и теперь висел, вцепившись в боковой брус, и быстро быстро перебирал ногами, словно хотел догнать ускользнувшую опору.

Андрей протянул руку, поднатужился, вытащил парня на настил. Тот довольно шмыгнул носом, поправил рыжий сбившийся малахай и со всех ног кинулся догонять товарищей.

Андрей пошел следом. У второго яра льдину поднесло к берегу. Выворотив размягший шмат земли с торчащими нитками корешков, она на мгновение задержалась, и Андрей вместе с пареньком в малахае легко зашли на нее. Теперь робинзонов было семеро. С шумом плыли они по течению, и люди на берегах с завистью смотрели вслед.

Медленно удалялся город — поползли вдоль берега низенькие черные избушки деревень, пестрые поля, сиреневые перелески. В дымке заголубел железнодорожный мост, откуда вела тропа в город. Пришла пора высаживаться. За поворотом льдину вынесло на середину реки, и Андрей вздрогнул: под мостом, около каменных быков, кипели буруны, и вставали на дыбы, корежились впереди плывущие льдины.

— Быстро на берег, — крикнул Андрей. Он выхватил у кого-то обломок доски и с силой сделал несколько гребков. Льдина чуть подвинулась к берегу, но течение отжимало ее обратно на середину. Прыгнули первые двое — попали на отмель, провалившись по колено, и козлятами повискакивали на размытую сушу. Еще трое прыгнули

с разбегу и попали удачнее. Только паренек в малахае нерешительно перебежал из конца в конец.

— Прыгай,— заорал на него Андрей,— но парнишка мялся.

Тогда Андрей схватил его под мышки и швырнул к берегу. Тот плюхнулся в воду, провалился с головой, вынырнул и судорожно схватился за протянутую с берега палку. Льдину втащило в раструб. Разворачиваясь, она набирала скорость, когда прыгнул Андрей. Он лихорадочно заработал «саженками», вытягивая повыше голову над пахнувшей болотом водой, но поток удерживал его на месте: желтенькая полоска берега не подвигалась. Тогда Андрей окунулся с головой и, как мог быстро, замолотил руками и ногами. Течение начало утихать, и, теряя силы, Андрей уцепился за шершавый, колющийся бетон быка. С хрустом и скрежетом разбился о камни недавний плот.

Выйдя из воды, Андрей бессильно присел на обломок доски. Отдохнув, стал раздеваться. Против ожидания, было не холодно. Для щербатого, испуганного парня в малахае друзья собрали немного сухого — что у кого было поддето. Андрей отжал воду, вновь оделся, и они дружной рысцой припустили к городу. Добежали до окраины и воробьями рассыпались по дворам.

— Чаю с малиной у матери попроси,— крикнул Андрей спасенному,— да на печку заберись, погрейся.

К вечеру немного помутнела голова, слегка зазнобило, а ночью поднялся жар. Вызвали врача, тот послушал, хмыкнул и заставил лежать.

Таблетки сбили температуру, но голова гудела. Рядом на стуле валялся альбом с беглым наброском ледохода. На вторые сутки к вечеру он поднялся и с удивлением почувствовал, что очень слаб.

В дверь застучали. Андрей лег в кровать, отозвался. Нежданно-негаданно вошел Митька — трезвый, стеснительный, поздоровался. Сел на предложенный стул, подобрал под себя ноги в войлочных, не по сезону, башмаках. Потом порылся в карманах и протянул два больших апельсина.

— На вот, для поправки. Сегодня на базаре были — взял...

— Пацану своему лучше снеси,— отказался Андрей.— Детям оно полезно...

— Дочка у меня,— вздохнул Митька и заговорил о

другом.— Ты не сердись на меня за тот раз — нечаянно вышло. Колеса юзом повело на ледышке — вывернуть не успел, меня и сбросило в канаву. Место неудобное...

— Ладно, чего вспоминать, обошлось все...

— Флягу я по дурости задвинул, ты не думай. Пьяный был. Я с этим делом завязал крепко, потому и к тебе попросился. Губу тогда разъело, сам не понимаю, как вышло. А ты молодец — не испугался.

— Ты что, покаяться решил? — Андрей пристально взгляделся в Митьку.

— Да нет,— смутился тот,— и поспешил объяснить: — Ты не думай, я не вор. Было, конечно, но не для себя, не для наживы. Втянули меня тогда, и брал просто так, потому что многие брали. Выпить надо, пару фляг закосишь — и порядок. А на душе тошно. Завязал, стал с тобой работать — и как камень свалился. Осечка только вот произошла — больше не будет, честно тебе говорю.

Он пристально посмотрел на Андрея — верит тот или нет, и загорячился:

— По делу я к тебе пришел. Повидать, конечно, ну и думка у меня важная есть. Давай мы с тобой всех этих жуликов выживем с завода. Сами возьмем и выживем, а? Пока они здесь — нельзя мне по-человечески жить, словно в грязи вымазан хожу. А за старое украденное я заплачу — деньжат подкоплю немного и заплачу. У меня ведь дома все есть — костюм, телевизор, мебель, дочка в школу пойдет, жена работает — покоя только нет. Жилье, правда, неважное, потолок течет, холодновато зимой, но ведь это все поправимо, верно?

— Зачем ты с ними связался, это ведь совсем другие люди? — спросил Андрей.

— Не знаю. Сначала за компанию, потом просто так, по привычке. Корешем у них считался, а когда отказался сметану у себя на участке толкнуть — то вечером напоили и избили. Ногами по животу били...

— Да их гадов в тюрьму надо! — закипел Андрей.

В дверь заглянула мать, поздоровалась с Митькой и громко шепнула:

— К тебе, Андрюша...

Вошла Валя. Митька заторопился:

— Пойду я... Выздоровливай скорее.

— Спасибо, Митя,— тепло отозвался Андрей, протя-

нул на прощание руку.— Продержись денька три-четыре, а там возьмемся.

Митька кивнул головой и ушел. Валя высыпала яблоки, печенье, робко посмотрела на Андрея.

— Я ждал тебя и знал, что придешь,— мягко сказал он.

Она просветлела, порывисто обняла его голову:

— Правда? Я несколько раз хотела зайти, да родителей твоих боялась...

— Они не страшные...

— Нет, я из-за другого. Подумают еще, что от дела тебя отрываю. А вчера вечером Петька соседский встретился и про купание рассказал... Я испугалась, будь что будет, думаю, и пошла...

— Умница ты... Знаешь, как на душе легко стало. Совсем выздоровел...

Она посмотрела по сторонам, увидела полузанавешенный мольберт:

— Что это?

— Так, ерунда. Рисую иногда немного...

— Можно посмотреть?

Андрей откинул занавесь, выложил на стол этюды... Валя, ойкнув, перебрала несколько листов, несмело спросила:

— Это ты все сам, да?

— Сам,— усмехнулся Андрей.— Я тебе раньше нарочно ничего не говорил, хотел сразу законченную картину показать...— Валя недоверчиво слушала — а он, распадаясь, говорил взволнованно, вдохновенно, как еще никогда ни с кем не говорил. Суть разговора трудно было бы понять стороннему человеку, потому как важен в нем был не только смысл слов, но и каждая пауза, интонация каждого звука, продолжительность взгляда и еще множество мелочей, которые можно почувствовать, но невозможно объяснить. Он говорил, словно еще раз хотел убедить себя в правильности избранного пути, но говорил так, чтобы это поняла и Валя, а она изредка кивала головой, переспрашивала, соглашалась или задумывалась, а потом признавалась:

— А я-то думала, что ты афиши пишешь.— И тут же вздохнула: — Лучше бы ты был таким, каким до сегодняшнего дня знала. Умным, добрым, нежным — и все. А ты весь словно в небе — а я как дурочка, обыкновенная

очень. Другие, наверное, думают, что я с тобой из-за того, что ты художник А я не знала, честное слово, не знала...

— Не о том ты говоришь,— перебил ее Андрей.— Какая разница — знала или нет, чем я занимаюсь? Меня-то ведь ты знаешь, хоть немного, но знаешь. О чем же речь.

— Ни о чем. Просто тебе нужно немножко тепла — близко около тебя ведь никого нет. Обогреешься немножко — и уйдешь дальше. Я чувствую — уйдешь, и сердце щемит...

— Глупая... Куда я уйду, зачем?

— Не знаю. Ты же сам слабенький, возле тебя должен быть человек, который бы поддержал, когда трудно, не давал духом упасть, понимал бы тебя всегда... А я...

Она споткнулась, подняла глаза, попыталась улыбнуться:

— Правда, когда ты разговариваешь, я все понимаю — и про раскопки, когда объяснял, и про то, как иногда картины создаются,— иступленно, на одном порыве, а иногда медленно, кусочек к кусочку... Я понимаю, только не всегда объяснить могу...

Андрей тихонько обнял ее.

— Ты все поймешь, все-все. У меня ведь сейчас в жизни главное только ты и картина — все остальное как-то на втором плане. Когда я знаю, что ты где-то недалеко — сразу желание работать появляется. И никуда я не денусь, просто мне с тобой хорошо...

Расстались они уже затемно — и долго еще Андрей не мог заснуть. Закинув руки за голову, думал он о сложном и непонятном женском характере, для которого нет полного счастья без ласки, без постоянного кусочка тепла. Неожиданно вспомнилась Анка — раздатчица, еще не старая, некрасивая и одинокая, которая, как рассказывал Митька, сошлась с Сенькой только потому, что тоже хотела получить хоть крохотную долю от бабьего счастья, положенного ей самой природой. И теперь, когда появилась своя семья, жила она в постоянном страхе, боясь потерять приобретенное, и не могла найти сил, чтобы порвать с прошлым.

И думалось Андрею, что после поправки он обязательно поговорит с Анкой и Сенькой, добьется, чтобы бросили они свой грязный промысел и зажили по-человече-

ски. Что может получиться из этого разговора, он не знал,— но от желания помочь им на душе теплело.

Пролетела неделя — мелькнула верстовым столбом. Три последних дня Андрей чувствовал себя совсем хорошо. Два вечера бродили они с Валею по городу, мечтали о близком будущем, когда все образуется и они смогут быть вместе, а днем Андрей работал над картиной. Оставалось совсем немного — чуть усилить цвет дома, углубить красоту рассвета и еще раз прописать тени. Показать картину он решил в День Победы.

Завод гудел потревоженным ульем. Вчера перед концом работы арестовали Анку, Воробьева, Сеньку, Митьку и еще троих, и теперь, несмотря на ранний час, во всех углах говорили, только об этом. Первой взяли Аню, и Воробьев, чуя неладное, шепнул друзьям, что заявил стукач Замахин. Встретили Андрея настороженно, в его присутствии умолкали. Какая-то бойкая бабенка остановила в коридоре:

— За что таких людей в тюрьму упек?

— Дура,— равнодушно ответил Андрей. Он тревожился за Митьку и поднялся к директору.

Директор выслушал, с хрустом переломил карандаш.

— Вы когда узнали, что на заводе воруют?

— Дней двадцать назад...

— Сразу почему не сказали, не посоветовались...

— Не знаю... Неудобно, что-то вроде доноса... А потом решили с Митькой, что сами справимся.

— Эх вы, молодежь,— вздохнул директор.— Все полегче стараетесь, совесть свою нагрузить боитесь. Сказали бы хотя двумя днями раньше — был бы выход и для грузчика вашего, и для Анюты. Что-то вроде явки с повинной было бы, а теперь чем я помогу? Теперь суд все решать будет. Если даже и расскажут все чистосердечно, все равно суд неизбежен, раз следствие начато...

Андрей молчал. Да и что он мог сказать? Легко быть честным, если вокруг нет сомнений и противоречий, легко быть чистым, если в тебя не бросают грязь...

После работы Замахин пошел в милицию. Рассказал все, что знал. Особенно подробно о последнем разговоре с Митькой. Начальник выслушал внимательно. Молча выписал повестку и попросил зайти дня через два.

Через два дня сидели они в кабинете вместе с Митькой. Начальник попросил повторить, что говорил Замахин раньше, и долго расспрашивал Митьку о его прошлых делах. Потом отпустил его — под расписку о невыезде до суда.

5

Девятого мая, как всегда, у Замахиных собрались гости — и с ними — Петр Петрович. Валя работала в день и не пришла. Петр Петрович приехал накануне и сам навестил Андрея. Подробно расспрашивал о делах, просматривал рисунки, наброски — делал пометки, объяснял, расспрашивал, как думает Андрей жить дальше, все с таким радушием, сочувствием, что большого труда стоило удержаться, не похвастать преждевременно картиной.

Собрались рано — нарядные, торжественно притихшие. Старики при наградах — и, к удивлению, у Петра Петровича тоже краснела эмалевая Звездочка.

— За финскую, — коротко пояснил он, перехватив взгляд Андрея. — В Отечественную я в артиллерии преподавал, младших лейтенантов готовили. Тысяч шесть выпустил, молодежь все была — семнадцать — восемнадцать лет, самый опасный для войны возраст. Большинство в первых боях погибло. Горячие, неопытные, больше всего боялись, как бы страх ихний не заметили. Верещит порой от ужаса, а укрыться не смеет — командир.

Он помолчал, несколько минут смотрел в телевизор, на четкие шеренги солдат в парадных колоннах.

— Здесь их детей никогда не будет, не один род навеки оборвался, — и печально умолк.

Неловкую тишину нарушил Замахин-старший, и сын с благодарностью взглянул на него.

— Это точно, молодые самыми отчаянными были. У нас ротой командовал лейтенант Никищенко — салага совсем, девятнадцать лет, а лучший разведчик дивизии. Бывали у нас с ним истории. Как-то за Днестром уже языка месяц взять не могли. Словно вымерло у немцев — ни черта не получается. Вызвали к самому — ну, говорит, братва, что хотите, а выручайте. Отпуск пообещал. Идем обратно лесочком, сумерничает уже. Смотрим — мать честная, фриц! Лежит стервец на соломе, накрылся шинелью и храпит. Никищенко меня в бок — давай! Я пор-

тянку с ноги — и на него. Навалились, Никищенко руки заламывает, а я портянку в рот сую. Он вывернулся, да как заматюгается по-нашему и по заливку мне. Утихомирили его, осмотрелись, нет ли где дружков его, тащим к себе. Тяжелый такой боровок. Никищенко удивляется: вот мол, до чего дошло, к концу войны по-нашему заговорили, гады. Притащили к себе его — ребята в хохот. Связист знакомый оказался. Нитку проверял и кемарнул дорогой, а шинель немецкую для тепла накинул — в сарае нашел. Обматерили друг друга — я шеей едва ворожаю, он зеленый весь.

Отец посмотрел — повеселели ли гости, и продолжал: — А второй анекдот у нас печальным получился. В феврале дело было, в Белоруссии. Выужит, наст, хоть на танке кати. Ползем мы, а впереди осветительные — вжик! вжик! Ничего, мы в халатах — незаметно. Вдруг что за черт — в рукаве горячо. У меня телогрейка была — рукава на резинке, и заскочила туда горящая подружка, по насту проехала. Вскочил, ору, рукавом трясусь — не соображу от боли. Никищенко дошурупил — финкарем рукав отмахнул. Уже чуть не до кости мясо прожгло. А метрах в тридцати — охранение немецкое. Высунулись и ржут что есть мочи. Мы обратно. Метров двести прошли — очередь откуда-то дурная. Никищенко наповал, а мне аккуратно в серединку кости в горелую руку. Так и кончилось все. Одна память о лейтенанте осталась. — Отец провел рукавом по колодке. — Первую «За отвагу» с ним вместе получали, и номера были почти рядом — через три. В начале сорок второго еще. Двое суток под Ольховкой отбивались, от всей роты пятеро осталось. В сорок четвертом, сорок третьем в конце за это по меньшей мере орден бы дали, а первое время мало кого награждали. После Курска щедро давать начали...

Он смешливо дернул носом, кивнул на Пашу:

— Вон у него целых четыре супротив моих двух, на одной машине с комдивом ездил, заработал...

Папа смущенно отмахнулся:

— Молодой тогда был, покрасоваться хотелось. Взял и намекнул как-то комдиву: конец, мол, войне скоро, а я будто и на фронте не был... На передовую, говорю, отпустите, что ли, там отметят, может. Он ничего не сказал, а после повесил одну, а через полгода другую. Последнюю, правда, я в Румынии получил — спас комдива. На

минное поле заскочили, от комполка, что впереди ехал, одна воронка осталась, а мы машину оставили и меж бугорочков. Я впереди, комдив следом. Отметили за находчивость... Дело прошлое, что вспоминать. Плохо ли, хорошо ли, а мы свое сделали, что полагалось. Молодежи теперь дорогу даем, пусть себя покажет...

Долго еще длились воспоминания, пересказанные не раз в этом тесном кружке, и каждое новое напоминание о войне сильнее действовало на отца. Он воевал больше, чем все остальные его друзья, и теперь немного подтрунивал над Пашей, Силкиным, не трогал только Фурьева.

Отец вспомнил о картине:

— Ну, сын, покажи, что ты уготовил к сему дню. Частенько я заглядывал,— обратился он к Петру Петровичу,— над чем ночами колдует, да так и не добился. Все после обещал...

— Взглянем, взглянем,— сказал Петр Петрович.

Нарочито небрежно откинув простыню: смотрите, что получилось,— Андрей отошел в сторону, с робостью и нетерпением ожидая оценки Петра Петровича. Во рту пересохло от сухости. Волновался и отец, но высказаться первым не осмеливался. Петр Петрович всматривался в каждый мазок, отходил в сторону, снова наклонялся — и молчал. Дольше других, заметил Андрей, смотрел он на старуху и безногого и задумчиво покачивал головой.

Наконец Петр Петрович кашлянул, поднял ладонь к уголку рта и обхватил большим пальцем подбородок.

— Ну что же — картина есть, и это главное. Ряд мест более удачен — старушка, инвалид написаны вполне профессионально. Характеры метко схвачены — две судьбы четко видны. Свет удачен — в окне, на зелени. Слабее там, где пляшут,— тяжеловато, однообразно несколько, но я это после объясню, тут разговор особый. Что мог взять от меня, как от учителя — ты взял. Дальнейшее от самого себя зависит — работай больше, напряженнее — получится...

— Да, хорошо! — заговорил отец. — Идея-то какая — всенародная радость в конце долгого страдания и надежды. Старуха, посмотрите, какая! Одна она — картина, там вся скорбь матерей выражена. А другая мать — на крыльце с ребенком? Будущее ведь на руках держит... Спасибо, сын!.. Теперь вижу, не зря Николай Замахин на земле жил, коли такого сына породил.

И допоздна сидели они, снова и снова вспоминая бы-
лое. Вечером Андрей провожал Петра Петровича. Они
подшли к каменному, с карнизами старинной лепки дому
и поднялись по просторной, выщербленной лестнице на
второй этаж. Здесь Андрей не бывал года четыре. Мягко
осветилась прихожая.

— Любы нет,— бормотал Петр Петрович,— у матери
осталась, ты уж похозяйничай. Иди, кофе поставь, а то
ведь душевного разговора не выйдет, а?

Андрей засмеялся, помог снять плащ.

— Смотри о чем говорить...

Разделались с хлопотами, сели за стол. Петр Петро-
вич посмотрел на Андрея, бережно усмехнулся:

— Многое тебе легко дается, Андрюша,— и страшит
это меня, легонько, правда, но страшит. Не думай, что за
счет природных задатков можно во всем выйти, каждый
день работай. Обязательно каждый день, иначе ничего
стоящего не получится. Чему можно — я научил: рисун-
ку, хотя он еще слабоват, композиции, колориту, но мыс-
лить, искать сопереживая — этому научить нельзя. На то,
что я дома говорил, наплюй и забудь. Не для тебя, для
родителей сказано, им жить после этого легче будет. А те-
бя пока больше ругать нужно, чем хвалить. Своей дорогой
иди, не подлаживайся ни под кого. Это я так, для общего
развития.

Петр Петрович отодвинул кофе, откинулся на спинку
стула.

— Картину свою доработай — слабовато еще, особенно
техника подводит, торопишься. Идея хорошая, и решение
правильное прощупываешь — не спеши, главное. Старуха
с инвалидом очень хороши — на духу, видно, делал, сра-
ботал лучше, чем можешь. Остальных надо до них подтя-
гивать. Ведь те, что в центре — как на плохом плакате:
объема не чувствуется, тени выпачканные, не прописаны.
Если переделывать будешь, постарайся к осени закончить.
Выставка зональная будет, надо бы успеть. Я ребятам
скажу — пусть тебя на заметке держат... Центр, центр
перепиши — сам себя уважать начнешь, хорошо должно
получиться.

Помолчали.

— Школы тебе крепкой не хватает, чтобы не биться
лбом в дверь, которую давно открыли, да это поправимо.
На копиях при возможности посиди — нашему брату на-

до на подлинниках старых мастеров себя проверять. Когда научишься за каждый чужой мазок болеть как за свой, тогда и к самому себе спрос строже будет. И еще запомни: сейчас ты только начинаешь, все еще в розовом свете видишь, но есть в нашем деле серединка, когда разочаровываешься во всем: и что сделано, и что хочешь сделать. Это в характере человеческом — целые эпохи, начавшиеся энтузиазмом, заканчивались сомнениями. Оптимизмом впрок запасайся и постарайся сделать как можно больше, пока душа горит... Впрочем, сам ведь понимаешь... Пойдем лучше, покажу кое-что...

Петр Петрович поднялся и прошел в мастерскую, где когда-то Андрей просиживал вечерами.

На подрамнике был большой, недавно начатый портрет: из-под нависшего, огромного, как у библейского апостола, лба смотрели пронзительные, скорбные глаза, словно хотели вобрать в себя весь этот неведомый, рано оставленный мир.

— Последнее, — сказал Петр Петрович, — Володька... Закончу его, и все...

Он прошел дальше, отодвинул пропыленные папки, достал небольшую деревянную иконку Спаса.

— Возьму, пригодится. Не тебе объяснять, как умели предки наши чувствовать человеческий характер. Образ ведь канонизирован, а у каждого мастера свой Спаситель. Одними глазами и складкой рта он то гневный и осуждающий, то скорбный, всепрощающий, задумавшийся, любящий... Была у меня одна великая задумка — собрать все репродукции на библейские сюжеты и свести в систему — великая бы школа человеческих отношений получилась. Одни русские имена чего стоят — Крамской, Иванов — это же титаны!

Он отвернулся — и выступила на глазах влага, старая, настоящая на горе, выдержанная, крепкая...

— Помочь чем? — встрепнулся Андрей.

— Пустое... — шевельнул губами Петр Петрович. — Как вспомню, так и прихватит. Володька ведь всего двумя годами старше тебя был...

Он помолчал и заговорил быстрее:

— Ладно, ступай... В гости заходи пощедрее, не стесняйся. Трудновато нам одним, сам понимаешь. Подарок для тебя есть небольшой — у стариков он пока. Или в руки отдам, когда вернусь, или пришлю. Китайская одна

хорошая пословица есть древняя — «Дорогу осилит идущий», мудрая истина. Ну, ладно, это потом. Прощай пока. Сердце опять заколотило, прилечь надо...

6

Все приходилось начинать сизнова.

На новом большом холсте — карандашная пропись композиции. Надо собраться с силами и работать. Теперь уже начисто...

Андрей перекладывает картонки с этюдами, морщится. С центральными фигурами он сделал уже восемь вариантов, а лучшего все равно нет... И искать дальше не получается — затаскался образ...

Жарко. На дворе — июль, самый конец. Словно оправдываясь за дождливое, испорченное лето, солнце не пропадает с небес.

Сегодня работа не получится — нет настроения. Андрей заглядывает в численник — любопытно, когда же заход солнца, и в глаза бросается яркий красный кружок — Валино рождение. Вот те на, чуть не забыл.

«Вечером, наверно, в гости придет приглашать. Опять компания, опять назойливое радушие: почему не пьешь, «одна молодцу не в укор», «палка о двух концах», «бог любит троицу», «изба о четырех углах строится», и прочее, словно нет у гостей иных забот, как друг друга напоить. А месяц, взятый за свой счет, на исходе, на работу скоро. Митька там один пашет. Получил год исправительных работ, двадцать процентов в доход государству. Старается — семью кормить нужно...»

Андрей задумывается и собирается к Вале.

— Схожу сейчас, поздравлю заранее, чтобы вечером не идти. — Одедся, посмотрел в папках — что бы в подарок взять? Лучший рисунок — прошлогодний, карандашом на ватмане — копия с Ван-Гога. Полюбовался, положил в папку с толстыми, картонными корочками и пошел.

Валя просияла, торопливо поднялась навстречу:

— Господи, наконец-то! Я так ждала эти две недели, думала, не дожидаться.

— Работал. Времени мало осталось, а еще нет у шубы рукавов.

— Да я же понимаю, только скучно без тебя...

Испуганно заглянула в глаза:

— Ты ведь не сердишься, что я как собачонка привязалась?

Он опустил веки, тихо покачал головой. Потом подал папку:

— С днем рождения тебя!..

— Ой, забыла... Знала ведь, что день рождения, и думала, что ты обязательно придешь, а потом забыла. Про рождение забыла, думала только, что ты придешь...

Она развернула рисунок, несмело улыбнулась:

— Спасибо... И тут тоже — скорбь, печаль... У тебя почему-то все очень грустное. Почему?

— Не знаю... Ближе как-то. Веселое — только о себе думаешь, хорошо, и только. А печальное — оно больше о других...

— Поэтому ты и осень больше любишь?

— Я не люблю осень. Бабье лето люблю... Его словами не выразить — умиротворенное увядание красоты. Кажется, что целый год природа живет и готовится именно к этому моменту. Иногда просто стоишь, смотришь — и тихо-тихо, легко-легко плачешь...

О других сезонах мечтать хорошо: зимой о лете, осенью о весне, и в мечтаниях всегда лучше, чем наяву. Зимой — и мухи, и пыль не вспоминаются, а летом они все настроение портят... Одню бабье лето в действительности лучше, чем в мечтах. Пятое время года — самое краткое, самое прекрасное. Итог...

Андрей оживился:

— Знаешь, у меня в жизни все самое хорошее должно случиться в сентябре. В этом году сразу два события: выставка и мы поженимся. Да?

Она тихонечко засмеялась:

— Выставка — это да, событие, от нее много в будущем зависит. А я разве событие?

— Событие, — подтвердил он. — В одиночку труднее жить — все нехорошее исподволь копится, да и радостью не с кем поделиться. А с тобою все неприятности мельче, и что-то хорошее сделать хочется... Для тебя, для других... Только бы получилось.

Она погладила его по лицу:

— Боже мой, какие мелочи меня волновали, из-за чего переживать приходилось!.. Только ведь для себя жила — мне весело — и хорошо, ничего больше не надо.

А теперь как в другом мире. «Скорая помощь» проедет — думаю, что вот кому-то очень плохо. На работу человек придет хмурый, убитый чем-то — поговоришь с ним, смотришь, развеялся, и ему и тебе легче... Я раньше понять не могла, отчего это со мной, а после догадалась — из-за тебя... Ты ведь тоже такой, вот я и собезьянничала... Так жить лучше — чувствуешь, что кому-то очень нужен. Он, может, даже не догадывается, а ты знаешь, что ему нужно... Ты пригласишь меня на выставку?

— Нет.

Она потускнела:

— Почему?

— Не хочу, чтобы ты расстраивалась. Вообще, если удачно — приглашу, а если нет — и не скажу...

— А я сама приду...

Он бережно поцеловал ее.

7

Ночь накануне выставки Андрей спал беспокойно. Снилось, что он опоздал к открытию, просыпался, смотрел на часы и снова начинал дремать.

Часов в семь не выдержал, поднялся. Нарочито медленно оделся и тихонько побрел вдоль улицы. Солнце уже висело над крышами, длинные холодные тени полосами расчертили тротуар.

Торопились по своим делам проснувшиеся люди, и надсадно гудели на подъеме перегруженные автобусы. Андрей шел пешком, и ходьба возбуждала его. Думалось о выставке, что наконец свершается то, о чем неотступно думал он в армии, и этот год — выход на зрителя, первое признание, что он может работать, что все же есть в нем что-то свое, присущее ему одному, чем можно, надо поделиться с людьми... Мысли были неопределенны, немного туманны — важны были не они сами по себе, а настроение — бодрое, приподнятое, томящееся ожиданием.

Умышленно он шел самым дальним путем. Немного посидел в парке — побагровевшем от ранней осени, полюбовался уже опечаленными заботами о зиме воробьями, и когда на старой звоннице местного кремля пробило десять, поднялся и пошел на выставку.

Несколько слов знакомым, легкие поклоны — и Андрей прошел в глубь зала, к своему полотну, которое дол-

го и старательно размещал накануне на тонкой, обтянутой серым холстом стене-временке. Место было неудобным — свет, падающий из окна сбоку, отсвечивал на фасаде дома, и Андрей повернулся к окну спиной, закрывая отблеск.

Как всегда бывает при напряженном ожидании, комиссия появилась внезапно. Увлечшиеся разговорами художники торопливо расходились к своим стендам. Начались «смотрины». Разговор глухо звучал где-то в начале зала. Андрей прислушался, но слышал только невнятный, перекатывающийся шум. Шум крепчал, расслаивался, и вскоре можно было уже разобрать отдельные слова: подрамник... пропись... они в это время голубые, а не светло-серые, — кому-то выговаривали за неудачный весенний пейзаж и немного небрежный подрамник.

Подшли и к Андрею. Главной, видимо, была здесь не очень молодая, полная женщина в зеленом костюме джерси, с пышными, немного подсиненными волосами. Когда она начинала говорить, остальные умолкали.

— Совсем не так, — уважаемый Валентин Львович, — обратилась она к кому-то из спутников. — Все это вторично, все уже было, причем на более высоком уровне... Новое, сегодняшнее содержание должно говорить само за себя... Давайте лучше посмотрим, что у молодого человека. — Она мягко улыбнулась и обратилась к Андрею:

— Простите, как вас зовут?

Андрей представился, женщина что-то вспомнила.

— Да-да, мне о вас говорили. Давно занимаетесь живописью?

Андрей несколько оробел.

— Лет семь — если считать только серьезное отношение...

— А что, бывает и несерьезное? — полюбопытствовал кто-то из толпы.

Ему никто не ответил.

— Выставлялись? — продолжала расспросы женщина.

— Один раз, здесь, в области — давно...

Женщина сделала какие-то пометки в блокнотике. Тыльной стороной ладони указала на кряжистую, раскидистую липу с набухшими почками:

— Это что — символика?

Андрей замялся.

— Не знаю... Не задумывался как-то — случайное совпадение...

— Ну и хорошо. А если символ возрождения чего-то, то никуда не годится — было уже.

Женщина снова сделала в книжечке какую-то пометку.

— Пасмурно уж у вас очень... Инвалид, старуха — изможденные, отрешенные от жизни. Мученики, а не победители... Ну, ничего, желаю вам успехов.— И комиссия проследовала дальше. Замешкался только старичок в пенсне. Доверительно взял Андрея за пуговицу пиджака.

— Активнее, активнее надо о себе говорить, молодой человек. Замысел свой потолковее излагать — и не как объяснение, а в помощь... Вас ведь тут человек сорок, себя надо уметь показать, да-с. Тени, тени пачкаете, поспешно несколько. Помните, что Крамской о тенях говорил? То-то,— назидательно он поднял палец кверху и заторопился.

На душе стало тревожно. Андрей вышел в вестибюль, попросил закурить, жадно и неумело затянулся. Тут же бросил сигарету и вернулся к картине. Посмотрел, подсадовал на себя, что забыл закрыть отблеск, потом вышел на улицу. Итоги подводили часа через три.

Первой выступила женщина в джерси. Она поздравила всех участников, поговорила о растущем мастерстве, о приближении к большим и сложным темам, привела в пример несколько древних, ставших хрестоматийными имен, сопоставляя с ними тех, кого нужно было в чем-то упрекнуть: в замедленном качественном росте, непонятной символике, излишней сложности сюжета...

Потом зачитали список участников зональной выставки. Андрея в нем не было. Лишь в заключительном слове обмолвились о молодом таланте, у которого все впереди и которому можно пожелать лишь кропотливой работы над собой и более глубокого, творческого осмысления жизни.

Начали сбиваться стайки, заговорили громко, оживленно, впереводку, и в этой суматохе Андрей незаметно скользнул к выходу. На душе было нехорошо.

Пытался утешить себя, что смотрели бегло, не поняли сути, жалел, что забыл закрыть отблеск, убеждал себя же, что выставка не самое главное. Главное работа, поиск — и горько усмехался — ради чего?

На крыльце стоял и курил Игорь.

— Ты что? — окликнул он Андрея.

— Подрастать пошел, — нарочито бодро ответил Замахин и вздохнул. — Не взяли, в общем.

— Ну и что?

— Да ничего. Бросить, наверное, все к чертовой матери. Жить спокойно, не портить нервы, смотреть по вечерам телевизор, вовремя ложиться спать... Человечество ничего не потеряет — без нас запасники ломаются. Какая разница — одним-двумя там больше или меньше.

Игорь смотрел на друга упорным, немигающим взглядом, и Андрей, осекшись, коротко закончил:

— Вот так, старик. Деньги выплачены — и до свиданья лавка с товаром...

— Знаешь, когда я услышал, что тебя зарубили, мне на какой-то чуток легче стало. Я ведь только на твоих юродивых и смотрел, пока ты не пришел. Смотрел и себя ненавидел. Ты что думаешь, я бы не смог? Меня быт заел, семья, работа — а ты как птичка порхал — зернышек поклевал и сыт. В душе-то я верил, что еще смогу, еще возьмусь — а посмотрел на тебя и понял: все, поздно. А тебе нет. Школы тебе только хорошей не хватает — в себе варишься, а уже себя-то и перерос. И вообще — пошел ты... Дай мне о себе подумать.

Андрей хотел что-то ответить, но только сжал руку Игоря выше локтя и тихонько пошел домой. Дома заперся на ключ, лег спать. В голове что-то мелькало, крутилось, но тотчас же забывалось, и медленно, вместе со сном, приходило успокоение.

Проснулся он уже в сумерках, когда догорал закат. В дверь постучали, и голос матери осторожно спросил:

— Андрюша, ты дома? Открой...

Андрей щелкнул ключом. Мать вошла, подала небольшой пакет, аккуратно обшитый холстом.

— Посылочка пришла. От Петра Петровича...

Мать притворила за собой дверь, а Андрей торопливо вспорол мелкий, старательно выведенный шов. В серой бумаге лежала картонка. На ней — всхолмленное, омытое недавней грозой поле, поперек поля узкая, размытая тропинка через рожь, и мимо горстки сизоватых аккуратных домиков, над домами — яркое соломенное солнце, и в правом углу, где обычно чернели крохотные буковки инициалов Петра Петровича, — размашистое, уверенное слово: И Д И.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Р А С С К А З Ы

9	КОРЕНИХА
24	БУДНИЙ ДЕНЬ
33	ПРАЗДНИКИ
47	НИ РАЗЛЮБИТЬ, НИ ПОЗАБЫТЬ
56	ДОЛГАЯ ДУША
60	ПИСЬМО
73	«СЛАВЯНКА»

П О В Е С Т И

81	ХЛЕБ ДЕТЕЙ ТВОИХ
132	ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА

**Владимир Леонидович
Шириков**

ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА

*Рассказы,
повести*

**Редактор
В. Крупин**

**Художник
Г. Баспров**

**Художественный редактор
Б. Шляпугин**

**Технический редактор
В. Никифорова**

**Корректоры
О. Голева, М. Стрига**

Сдано в набор 10/IV-1974 г.
Подписано к печати 16/VII-1974 г
А09258.
Формат изд. 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 1. Печ. л. 5,5.
Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,20.
Тираж 30000 экз.
Заказ № 1476.
Цена 31 коп.

Издательство «Современник» Го-
сударственного комитета Совета
Министров РСФСР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной
торговли и Союза писателей
РСФСР.
121351, Москва. Г-351, Ярцев-
ская, 4

Тула. Тип. изд-ва «Коммунар».
ул. Ф. Энгельса, 150

ГЕРОИ МОЛОДОГО ВОЛОГОДСКОГО ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА ШИРИКОВА — НАШИ СОВРЕМЕННИКИ, РОВЕСНИКИ АВТОРА. ИХ РОДНИТ ОБЩАЯ МЫСЛЬ: СЫНОВЬЯ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛО ОТЦОВ, СМЕЛО БЕРУТ НА СВОИ ПЛЕЧИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИСХОДЯЩЕЕ В МИРЕ.

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ В. ШИРИКОВА ЛОКАЛЬНЫ ПО СОБЫТИЯМ, НЕ ИЗОБИЛЮЮТ КОЛИЧЕСТВОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ, НО ЗА ЧАСТНЫМИ СОБЫТИЯМИ АВТОР ВИДИТ ОБЩЕЕ, В ОТДЕЛЬНЫХ СУДЬБАХ — СУДЬБЫ ТИПИЧЕСКИЕ.

Первая книга в столице